

Я ♥ читать

МОСКВА НУАР

Современные и классические бестселлеры

Москва Нуар. Город исковерканных утопий

Наталья Смирнова, Юлия Гумен, Алексей Геннадьевич Евдокимов, Владимир Яковлевич Тучков, Сергей Анатольевич Самсонов, Игорь Александрович Зотов, Александр Викторович Анучкин, Глеб Юрьевич Шульпяков, Вячеслав Николаевич Курицын, Анна Альфредовна Старобинец, Мастер Чэнь, Людмила Стефановна Петрушевская, Сергей Юрьевич Кузнецов, Максим Максимов, Андрей Хуснутдинов, Ирина Денежкина

Аннотация
МОСКВА НУАР. Город исковерканных утопий
Предисловие составителей
Часть 1. Преступление и наказание
Анна Старобинец. Автобус Милосердия. Курская
Вячеслав Курицын. Золото и героин. Ленин-

градский проспект
Людмила Петрушевская. Новый район. Пражская
Андрей Хуснутдинов. Постой. Бабушкинская
Часть 2. Мертвые души
Александр Анучкин. Поляна тысячи трупов. Лосиный Остров
Владимир Тучков. Вердикт «Макарова», грязный секс, или Встреча боевых друзей. Чистые пруды
Игорь Зотов. Декамерон. Серебряный Бор
Глеб Шульпяков. Двойник. Замоскворечье
Часть 3. Отцы и дети
Максим Максимов. Папа любит меня. Перово
Ирина Денежкина. Рождество. Новый Арбат
Сергей Самсонов. Точка невозврата. Останкино
Часть 4. Война и мир
Мастер Чэнь. Пальто с запахом земли. Березовая Роща
Алексей Евдокимов. Европа после дождя. Киевская
Сергей Кузнецов. Московские реинкарнации. Лубянка
Об авторах

Аннотация

Под одной обложкой в антологии «Москва Нуар» собраны рассказы самых ярких современных российских писателей о Москве — не такой, как мы ее знаем, состоящей из дорожных пробок, смога, гламура и вечной толкотни, а о Городе тайн и загадок, Городе, имеющем душу. Узнать его можно, только открыв ему свое сердце нараспашку.

Каждый из авторов антологии хорошо известен читающей публике и любим, у каждого — свой неповторимый стиль и безграничная фантазия.

Антология «Москва Нуар» — это объемный и неожиданный портрет Большого Города, написанный крупными и смелыми мазками, привлекательный и шокирующий одновременно, но всегда яркий и интересный.

Этот Город можно не любить, но не гордиться им невозможно.

МОСКВА НУАР.
Город исковерканных утопий

Предисловие составителей

Когда мы только начинали собирать эту антологию, нас неотступно преследовала мысль, что «нуар» — это не столько про сверкающую салонами «Бентли» и стразами длинноногих блондинок Москву, сколько про Санкт-Петербург, бывшую столицу империи, нуар-атмосферу которого так точно воссоздали еще Достоевский и Гоголь, навсегда закрепив за Петербургом звание столицы «нуара». Но чем дальше углублялись мы вместе с авторами этого сборника в леденящие душу дебри Москвы, тем ярче восставала она перед нами во всей своей мрачной и мистической безысходности. Москва — при бросающемся в глаза внешнем лоске — в первую очередь, город несбывшихся мечтаний, город недовоплощенной утопии, а в зазор между мечтой и реальностью какая только нечисть не пролезет.

«Реально город состоит из осколков совершенно несоизмеримых сред», в своих колонках все время отмечает Григорий Ревзин, один из ведущих журналистов, пишущих сегодня о Москве. Несоизмеримость вообще — слово, как нельзя

лучше описывающее ощущение от Москвы. Абсолютная бесстильность, огромные пространства, то тут, то там утыканные зданиями, между которыми пропасть в четыре века: к деревянному домику вдруг примыкает конструкция из стали, — все это результат длительного (более 850 лет) стихийного формирования. Обозначенная в 1147 году как малое поселение на огромной карте России, Москва прошла нелегкий путь до того монстра, коим является сейчас: периоды небывалого расцвета сменялись почти полувековым забвением.

Оставаясь центром огромного государства на протяжении почти всей своей истории, Москва притягивала людей самого разного сорта. В Москву ехали искать лучшей жизни: работать, в основном, — но и просить милостыню, подбирать объедки со стола лихих купчиков, воровать и грабить. Концентрация капитала позволяла разрушать и перестраивать до бесконечности, новые здания строились буквально на фундаментах старых. Еще до революции многократно разрушенные и воссозданные здания создавали благоприятную среду для всякого рода криминальных и полукриминальных элементов. После же революции 1917 года идеология разрушение

не просто поощряла, но призывала к нему. Слова большевистского гимна надолго определили общественный менталитет: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем». Возвращаясь к мысли о недовоплощенной утопии: разрушено было многое, а новый мир так и остался иллюзией. Тех, кто был ничем, поселили в «коммунальных квартирах», выселив из особняков и просторных квартир их бывших обитателей, в такие квартиры заселили десятки семей, которым предстояло налаживать новый советский коммунальный быт. (Подобного «уплотнения» счастливо удалось избежать профессору Преображенскому, герою романа Михаила Булгакова «Собачье сердце». По сюжету романа, действие которого происходит в послереволюционной Москве, профессор пересаживает псу человеческий гипофиз — в надежде, что это превратит животное в человека. Получившийся из этого эксперимента получеловек незамедлительно присоединяется к «красным» деятелям. Опыт не удается. По мнению Булгакова, тот, кто был «ничем», «всем» стать не может.) Такая форма проживания существовала в Москве до самого недавнего времени, и с точки зрения нормаль-

ного западного человека придумать что-либо более подавляющее просто невозможно: жить на виду во всех своих мелких подробностях, как в тюрьме, как в больнице. В своем творчестве образы коммунальных квартир и ее обитателей многократно использует знаменитый русско-американский художник Илья Кабаков.

Довольно наглядным символом того, как «строилась» Москва, может служить история храма Христа Спасителя: Кафедральный собор был воздвигнут в конце XIX века на месте разобранного для этих целей женского монастыря, взорван в 1931 году по приказу Сталина для строительства на его месте Дворца Советов. Дворец Советов построен так и не был (то ли по техническим, то ли по идеологическим причинам), и на месте храма к 1960 г. вырыт огромный открытый бассейн «Москва», просуществовавший до 90-х годов, когда на месте бассейна вновь начали воссоздавать храм Христа Спасителя, символ «новой России». «Был храм, потом — хлам, а теперь — срам», так говорили о бассейне. Ну что ж, теперь там снова храм, но надолго ли.

Чем больше думаешь о Москве, тем больше она предстает как огромный трансформер, где все чудесно меняет свой лик как по мановению вол-

шебной палочки. Вот, например, Чистые пруды (место действия рассказа Владимира Тучкова), ныне почти самый центр Москвы, в XVII–XIX веках были окраиной и назывались строго наоборот — «Погаными прудами» (если попросту, то «Грязными»). Налог на ввоз в Москву живого скота был значительно выше налога на ввоз мяса, поэтому скот забивали перед въездом в город — а внутренности скидывали в те самые пруды. Можно только догадываться, как они выглядели — до тех пор, пока некоему князю не пришло в голову повелеть наконец-то очистить этот источник зловония, и вуаля: отныне пруды Чистые, бульвар, примыкающий к ним, — Чистопрудный. Таких историй великое множество. Москва меняется с быстротой кинематографа, пытаясь преодолеть грязь, нищету, отчаяние, безысходность, зло, но без конца возвращаясь на исходные позиции.

Литературной традиции «нуара» в России вообще, а в Москве особенно, как таковой не существует. Почему? Возможно, из-за существовавшей цензуры — даже в царской России, не говоря уже о советском времени. Писатель, журналист, великий бытописатель Москвы Владимир Гиляровский, живший и творивший в конце XIX — начале XX века, в 1887 году под-

готовил сборник рассказов и очерков о самых мрачных местах Москвы и их обитателях «Трущобные люди». Однако книге не суждено было увидеть свет: цензурным комитетом книга была запрещена, и листы были сожжены. Как выразился помощник начальника главного управления в ответ на прошение Гиляровского о допуске книги к печати: «Из ваших хлопот ничего не выйдет… Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка. Такую правду писать нельзя». После этого случая писать «без проблеска и оправдания» нельзя было еще лет сто, и даже лауреату Государственной премии, одной из ныне живущих классиков Людмиле Петрушевской (одно из направлений творчества которой вполне можно отнести к жанру «нуар») долгое время приходилось писать в стол пьесы и рассказы о «теневых сторонах жизни».

Говоря о литературных истоках московского нуара, невозможно не упомянуть роман братьев Вайнеров «Эра милосердия» — о послевоенной (1945 год) борьбе милиции с «расплодившейся мразью». Опытный оперативник Глеб Жеглов и фронтовик, но новичок в розыскном деле Владимир Шарапов — противостоят зловещей «Черной

кошке». Книга стала знаменитой благодаря тому, что по ней был снят многосерийный телевизионный фильм «Место встречи изменить нельзя», многие москвичи знают его буквально наизусть.

Атмосфера, наиболее близкая к атмосфере «нуара» воссоздана в произведениях, посвященных Сталинской эпохе (таких как «Московская сага» Василия Аксенова, «В круге первом» Александра Солженицына): «воронки», увозящие в ночи «врагов народа», которые уже не вернутся домой, ибо будут расстреляны без суда и следствия, застенки, предательства, страх, самоубийства, «Дом на набережной» как символ сталинского нуара. Эта «сталинская» тема призраком прошлого неизбежно поднимается и в нашей антологии — в рассказах Сергея Кузнецова и Дмитрия Косырева.

Настоящий «нуар» — это не только центральные районы Москвы, пропитанные той самой атмосферой многократного разрушения и иных призраков (Чистые пруды и Замоскворечье, ставшие местом действия рассказов Владимира Тучкова и Глеба Шульпякова), но и спальные районы, где — вопреки так и не воплотившимся мечтаниям о просторных улицах, светлых домах и зеленых насаждениях — до сих пор царит

бедность на грани нищеты, типовые квартиры с неуютным электрическим светом и плохой звукоизоляцией ежеминутно внушают их обитателям, что «выхода нет». Это Перово в рассказе Максима Максимова, у Андрея Хуснутдинова — Бабушкинская (место, где был убит Пол Хлебников, главный редактор русской редакции журнала «Форбс»). В лесопарках в черте города орудуют маньяки, а в самом большом из них — национальном парке «Лосиный Остров» — имеется клочок земли в 1 квадратный километр, не охраняемый, по странному стечению обстоятельств, ни одной милицейской частью. Именно там устраиваются бандитские «разборки», именно туда свозят трупы, именно там происходят драматические события рассказа Александра Анучкина «Поляна тысячи трупов». Конечно, «нуар» — это и вокзалы, места средоточия людей, утративших надежду, где легко стать окончательно безымянным, затеряться в толпе (главную роль исполняют вокзалы в рассказах Анны Старобинец и Алексея Евдокимова). Что и говорить, похоже, что почти любое место в Москве так и жаждет стать местом действия мрачной детективной истории.

Эта антология — попытка вывернуть наизнанку прянично-лубочную туристическую Москву,

Москву блеска и больших денег; попытка показать ее зловонное чрево, попытка осмыслить царящую в ней безысходность. В этом сборнике Москва предстает как город несбывшихся мечтаний и исковерканных утопий.

Часть 1
Преступление и наказание

Анна Старобинец
Автобус Милосердия
Курская

Я жду милосердия. Оно скоро придет.

Вон оно, выруливает из-за угла, сейчас остановится и откроет мне двери. Мне и таким, как я. Еще пара минут — и нам будет тепло.

А сейчас холодно. Просто ужас как холодно. Особенно мне: они-то хотя бы лежат на решетках канализационных сливов или сидят рядом, на оголенном асфальте, привалившись к серым панелям вокзального здания. У них там хорошие местечки. Горячий пар поднимается из-под земли, пропитывает их вонючие тряпки и тела, их волосы и их кожу теплой влагой. Этот пар — он такой горячий, что растапливает даже сосульки, свисающие с козырька здания. Сосульки истекают гнойными каплями. Тепло там, под козырьком…

С другой стороны — не стоит мне им завидовать. Когда они встанут, им сразу же станет совсем плохо: еще бы, в мокрой насквозь одежде, на тридцатипятиградусном морозе… Правда, они

сразу же сядут в автобус — но и в автобусе кому приятно быть мокрым?

Бесформенная баба в приспущенных сиреневых колготках спит, сладко посапывая. Остальные не спят: смотрят без всякого выражения на приближающийся автобус. Тот, хромоногий, куда-то убрел, волоча подол нежнокожей дубленки и шаркая по мерзлой земле блестящими черными ботинками стоимостью в тысячу долларов каждый. Просто с ума сойти: он *не хотел* их брать, идиот! Брыкался и лягался своими кривыми вонючими лапами, только бы не надеть их!

Лисичка Ли хорошо все придумала — «А на вокзале ты просто с кем-нибудь из них поменяешься…»! — но не учла, что эти недоумки станут отказываться от выгодного обмена, вцепятся в свои лохмотья мертвой хваткой…

Пришлось уговорить одного. Я умею хорошо уговаривать; в особенности, когда дело мое правое.

…Кстати. Никогда не деритесь с бомжом на Курском вокзале. Это все равно, что подраться с гигантским гнилым яблоком. Или с переполненным мусорным пакетом…

Они, правда, оказались ему маловаты, ботинки

— но ничего, разносит. Или продаст. А остальные шмотки, наоборот, велики… Впрочем, у них здесь так носят.

Никто из его товарищей не пошел за ним. И никто не пытался вмешаться, когда я его бил. Выражения их лиц, опухших, окутанных паром и чуть подсвеченных фонарем, мне сложно сейчас разобрать — но, кажется, смотрят они все-таки как-то недобро, надо думать, им в итоге не очень понравилась моя стычка с одним из их стаи. Так что я на всякий случай держусь в стороне. Здесь, поближе к вокзальной ограде и к ментам, я вне опасности. Во-первых, они боятся ментов. Во-вторых, они слишком ленивы (или нет: ленивы — не совсем то слово; они слишком *неживы),* чтобы преодолеть расстояние в пятьдесят метров, отделяющее их от меня.

Менты, само собой, попытались меня согнать. Двое. Я дал каждому по сотне баксов (мельче просто не было) — и они отвалили, тараща то на меня, то на дензнаки бессмысленные рыбьи глаза. Их можно понять. Не каждый день встретишь на Курском вокзале вонючего обоссанного бомжару с пачкой зеленых в кармане… Через минуту один вернулся. Шмыгнул сиреневым от мороза носом, с голодным выражением уставился мне

в переносицу:

— Документы?

Я дал ему еще сотню.

Сосредоточенно сопя, он рассмотрел ее в желтом свете фонаря и спрятал во внутренний карман. Переступил с ноги на ногу. Скользнул чуть мутноватым и текучим, как водопроводная вода, взглядом по моей небритой физиономии, разбитому носу, сочащейся кровью губе, грязному, в буро-желтых пятнах, балахону, снова по лицу, вверх, чуть задержался на безобразной серой ушанке… Что-то его там заинтересовало: не то фасон головного убора, не то не прикрытый шапкой фрагмент моей шевелюры, слишком гладкой и чистой для такого типа, как я. Я надвинул ушанку на лоб, дабы его не смущать — и он тут же забыл о ней, аутично заскользил дальше, пока не сфокусировался снова на переносице:

— Где деньги украл?

Это уже была наглость.

— Заработал, — вальяжно сообщил я, но получилось не вальяжно, а сварливо и хрипло — как будто ворона каркнула.

— Пройдемте в отделение, — бесцветно сказал мент и вдруг — ей-богу! — громко клацнул зубами, не то от холода, не то — скорее всего — от

голода, ненасытная морда…

Я дал ему еще сотню, твердо пообещав себе, что *эта* точно последняя. Проблем с правоохранительными органами мне ой как не хотелось, но всякому свинству, пусть даже правоохранительному, полагался предел. Четыре сотни — это предел. Все. Если станет клянчить еще — я его убью.

Он снова придирчиво изучил мое подношение и спрятал за пазуху. Шмыгнул носом. Как-то неуверенно прокашлялся.

— Еще есть ко мне вопросы, командир? — прокаркал я, неловко стягивая с окоченевшей руки вонючую варежку, чтобы удобнее было стрелять в случае положительного ответа, и проклиная себя за это подобострастное «командир», выкатившееся из глотки, точно жетон из неисправного турникета при входе в вокзальный сортир.

Кстати. Никогда не ходите в сортир на Курском вокзале. Если только вы не любитель прилюдно поссать на морозе в вонючую дырку за пятнадцать рублей…

С диким ревом и стоном к вокзалу подполз пассажирский состав. Я стянул наконец варежку. Мент лениво покосился на поезд, потом цапанул взглядом мои оголенные пальцы — слишком

холеные, слишком гладкие, со слишком ухоженными ногтями, — и о чем-то тяжело и тупо задумался, морща узкий лоб и по-тараканьи шевеля мохнатыми заиндевевшими бровями. Наконец шевеление прекратилось.

— А ты кто вообще? — спросил он и впервые посмотрел мне в глаза, напряженно и почти что осмысленно; он явно стоял на пороге какого-то понимания…

Я нащупал в кармане ледяную рукоять. Оружие я вообще-то не люблю, стреляю плохо — но, с другой стороны, дурацкое дело не хитрое. Так, первым делом — взвести курок…

…Лисичка Ли сначала отказывалась дать мне пистолет. Это меня насторожило. Она мягко подталкивала меня к выходу, и быстро-быстро мотала своей рыжей головой, и глупо бормотала:

— Это лишнее… Пожалуйста, ну зачем он тебе?! Это лишнее…

Потом она поймала мой взгляд — и обиженно скривилась, и сжалась:

— Опять?! Ты *опять* мне не веришь?

Мне показалось, что она собирается плакать. Но она не заплакала. Она протянула мне пистолет, брезгливо, дулом вперед. «Неправильно, нужно рукоятью», — машинально отметил я про себя,

забрал у нее оружие и почувствовал, что мне снова стыдно.

— Только не делай глупостей, — сказала Лисичка. — Если что, на вокзале будет мой человек. Он поможет.

Мне вдруг стало неприятно.

— Что значит — твой?

— Свой, — игриво поправилась Лисичка. — Свой человек. Друг.

Она обняла меня за шею. Ее руки были прохладными, а кончики пальцев — чуть-чуть влажными.

— Обойдусь как-нибудь без твоих друзей, — я попробовал отстраниться, но она не пустила. — Поняла?

— Не ревнуй, — шепнула Лисичка мне в ухо. — Это было очень давно…

Я разозлился еще сильнее. Очень давно — это как? Когда Старый подобрал тебя на вокзале, грязную рыжую тощую тварь, тебе было семнадцать… А сейчас тебе двадцать один. Всего двадцать один, девочка! Так что значит — очень давно?!

Она погладила меня по щеке.

От ее пальцев сладко пахло цветочным кремом и кровью.

— Я буду с тобой, — сказала Лисичка. — Если

ты хочешь.

И я кивал, и я говорил «хочу», я злился и хотел ее, и целовал ее рыжие волосы, и пушистые желтые ресницы, и маленькие ладошки, и эти пальцы — холодные, влажные пальцы, которые она не успела отмыть хорошенько. Я целовал их и вдыхал их запах, звериный и детский одновременно…

— С тобой говорят! — возвысил голос мент. — Ты кто, на х…?

— …Два… Три… — прошептал я.

— Чего?!

Я решил, что сосчитаю до семи — мое любимое число — и тогда выстрелю.

— …Четыре…

С прибывшего поезда гуськом повалил народ, по широкому полукругу огибая то место, где стояли мы с ментом. Только какой-то субъект с бритой башкой, в черной кожаной куртке, замешкался, заозирался на нас, а потом и вовсе остановился. Уставился.

— Побыстрее проходим! — гавкнул на него мент.

Субъект бодро направился к нам.

— Документы?! — обалдел мой визави.

— Ныа двыа слыова, кыомандир, — расслаблен-

но ыкая на каждой гласной, пропел кожаный. И сделал приглашающий жест рукой.

Мент повернулся ко мне, потом снова к кожаному — и подвис.

— Дыавай-дыавай, — сказал кожаный, по-прежнему ыкая, но каким-то теперь уже приказным тоном. — Сиюда иди, кыомандир.

В глазах «командира» появилось какое-то животное выражение — смесь острого удивления и острой же тоски, — и он молча пошагал к кожаному, точно запутавшийся в командах пес — к дрессировщику.

Кожаный что-то коротко сказал менту в ухо. Тот покосился на меня, понуро кивнул и побрел в темноту.

— Кыомандир! — негромко окликнул кожаный.

Мент остановился и напряг спину.

— Ничего не забыл, кыомандир?

Спина чуть ссутулилась.

— Может, чужое что прихватил?

Спина не шелохнулась.

— Лыадно, иди, — смягчился вдруг Кожаный, и мент торопливо заскрипел сапогами по мерзлой снежной коросте.

— Не нарывайся, друг! — беззлобно посоветовал

мне Кожаный, подмигнул и тоже пошел прочь.

— Спасибо, — вежливо просипел я, но он даже не обернулся.

Друг. Ага, друг. Хорошенькие у меня теперь друзья…

И вот я жду милосердия. Оно скоро придет.

Вон оно, вырулило из-за угла, остановилось рядом с вокзалом — и открыло мне двери.

Милосердие — штука, как известно, расплывчатая и абстрактная, могущая принимать множество форм: от завалявшейся в кармане монеты до чека с непроставленной суммой, от пакета с объедками до благотворительного концерта, от поцелуя до искусственного дыхания, от таблетки валидола до выстрела в голову, от умения любить до умения убивать…

Ниспосланное мне милосердие конкретно. Оно имеет форму автобуса грязно-белого цвета. Оно дано мне на одну ночь — на эту холодную, черную, страшную, последнюю, счастливую, чертову ночь, — и я приму его без колебаний.

В эту холодную ночь, когда за час можно замерзнуть до смерти.

В эту черную ночь, когда за минуту можно исчезнуть бесследно.

В эту страшную ночь, когда меня ищут по всему

городу, в квартирах и кабаках, в метро и аэропортах, в гостиницах и кинотеатрах, в клубах и казино, на улицах и в подъездах.

В эту последнюю ночь, когда меня ищут, чтобы убить.

В эту счастливую ночь — когда меня не смогут найти, ибо никто не станет искать меня здесь, в Автобусе Милосердия, спасающем бездомных от обморожений и голода.

Мне нужно милосердие в эту чертову ночь!

Поэтому я падаю перед открывшимися дверями автобуса, я кашляю, хрюкаю и хриплю, я ползаю на четвереньках, как будто не имею сил встать, и я тяну к ним дрожащие руки — к троим людям в синих куртках-спецовках, с красными крестами на рукавах, с надписями «Милосердие» на спинах и с марлевыми медицинскими масками на мордах. Я заплетающимся языком лопочу:

— Ми-ло-сер-ди-е…

Я ползаю у них под ногами, я трогаю их ботинки и клянчу:

— Ре-бя-та…

Я шмыгаю носом и унижаюсь:

— Спа-сай-те…

Так меня научила Лисичка. «В автобусе мало мест, — сказала она. — Они берут только тех,

кому совсем плохо — и возят по городу всю ночь, греют и кормят, а утром привозят обратно».

«Только тех, кому совсем плохо».

«Только тех, кто на грани».

«Только тех, кто без них подохнет».

Что ж, в моем унижении, по крайней мере, нет фальши. Без них я подохну: святая правда. Меня просто убьют люди Старого. Загонят и убьют — как тупую, безмозглую дичь.

Кроме того, очень скоро меня станут искать и менты.

— Пиз-дец мне, ре-бя-та…

Сердобольные пареньки в масках берут меня под руки и втаскивают в автобус. Теперь я в безопасности. Я буду в безопасности всю ночь, до утра — а утром, в 7.01, я сяду в поезд…

Люди в масках вводят в салон и рассаживают опухших, нечистых, обмороженных, разлагающихся полулюдей. Автобус Милосердия трогается.

Лисичка Ли — моя девочка, моя вокзальная шлюшка, мой добрый ангел-хранитель, — указала мне надежную нору. Надежную и вонючую.

Господи Боже, какая же здесь вонь! Всю оставшуюся пачку зеленых я отдал бы за медицинскую маску — такую же, как у этих, милосердных. Мас-

ку мне, маску!..

Окна автобуса затянуты тонкими морозными нитями, украшены узором из безупречных пауков и снежинок, замазаны изнутри ледяной глазурью. Тонкая глазурь отгораживает наше вонючее, клейкое, автобусное тепло от холодной, пронизывающей чистоты города. Там, снаружи, легко и больно дышать, и от каждого вдоха ноздри как будто чуть-чуть склеиваются… Там, снаружи, меня ищут мои убийцы, чертыхаясь и матерясь, вдыхая и выдыхая ледяной воздух…

Здесь, внутри, стараясь не дышать носом, я выскребаю в идеальном узоре уродливый, но удобный «глазок» — и смотрю в окно.

Мы тащимся мимо «Атриума», ревя мотором и дергаясь в бессильных конвульсиях. Торговый центр полыхает неоном, в витринах корчатся полуголые манекены, а точно такие же, только в дубленках и шубах, ломятся в стеклянные двери — туда, к круглосуточным кассам… В свете фар, фонарей и реклам, в подсвеченной красным пурге люди с лицами цвета ржавчины кажутся веселыми бесами; их припаркованные в семь рядов тачки — семь кругов ада, гудящего московского ада, в котором пробки случаются даже в полночь…

…Все-таки это место действительно подходило для БаБла Милосердных Монстров как нельзя лучше.

Идея БаБла (Бала Благотворительности) принадлежала целиком и полностью мне, но я-то планировал снять на ночь замшелый театр навроде МХАТа, или концертный зал, ну или, на худой конец, какой-нибудь пафосный клуб…

Устроить БаБла именно в «Атриуме» захотел Старый.

Старый с Лисичкой Ли наведывались в «Атриум» часто. Лисичка закупала духи, кремы, туфли, шмотки, белье, покрывала, шампуни, печенье и соусы в масштабах почти что промышленных. Старый, надо отдать ему должное, не раздражался, ждал ее, сколько нужно, и даже оправдывался перед осоловевшими бодигардами, что, мол, тяжелое детство дает, мол, себя знать, а вы, мол, терпите, уроды. И рожи, мол, пятерней заслоняйте, когда зеваете, блин… Пока Лисичка закупалась, Старый любил скоротать время в ресторане — пожрать суши под текилу, — а потом зайти в кинозал: он считал себя киноманом. Время от времени помимо любовницы и охраны Старый брал с собой в «Атриум» кого-нибудь из подчиненных. Подобное приглашение означа-

ло высшую степень расположения со стороны босса и, соответственно, гарантию процветания, продвижения, безбедности и безнаказанности любимчика отныне и в течение некоторого отрезка времени впредь.

Отрезок этот длился, как правило, месяца два.

По истечении срока годности любимчик выбрасывался на помойку (то есть переквалифицировался в личного шофера второго помощника секретарши, или увольнялся, или стирался с лица земли — в зависимости от настроения Старого).

С начала ноября Лисичку и Старого сопровождал в «Атриум» я.

В конце декабря я все еще был любимчиком, но хорошо понимал, что срок мой подходит к концу.

В конце декабря Старый позвал меня в «Атриум», отправил Лисичку за шмотками, выпил сто грамм текилы и заявил:

— Один мой приятель, если дела у него шли хорошо, обязательно ставил свечку в храме Христа Спасителя. Мне каждый раз казалось, что свечки реально недостаточно. Но я помалкивал, потому что у него дела шли хорошо, а у меня — не очень. Теперь мой приятель сидит в тюрьме. Он выйдет не скоро — о-о-й, как не скоро! А у меня дела идут

хорошо…

Дела у Старого действительно шли хоть куда. Он тихо и удобно сидел на трубе — в достаточно напряженной позе, чтобы в любую секунду свалить (ибо труба все-таки была не вполне его), но и занимая достаточно много места, чтобы задница не чувствовала ни в чем недостатка (ибо труба все-таки была не вполне чужая). Он сидел, свесив ножки, и с удовольствием слушал, как с тихим журчанием утекала в далекие страны ароматная и маслянистая черная кровь РФ.

— …Я владею нефтянкой. Нефтянкой!

Старый произносил слово «Нефтянка» так сладко и плотоядно, точно это было имя голой и капризной африканской принцессы, которая отдавалась ему по ночам с криками, слезами и стонами. Вообще, слово «нефтянка» идиотским, нелепым, просто наинелепейшим образом меня задевало и мучило. Стоило боссу его сказать (что случалось достаточно часто), как перед моими глазами возникала злосчастная принцесса — влажная, верткая, задастая негритянка навроде Хэлли Бери, — которая уже через секунду охотно уступала свое место другой, бледной и рыжеволосой. Той, которую Старый действительно трахал. Лисичке. Стонет Лисичка или не стонет,

когда кончает? Закрывает свои белесые лисьи глаза — или они стекленеют и таращатся, как у набитого паклей чучела? Эти вопросы занимали меня чрезвычайно.

— …Ты меня, вообще, меня слушаешь?

— Да, шеф, конечно!

…Как она пахнет? Какая она на вкус?..

— …Так вот, дела мои идут хорошо. А я человек суеверный: если дела идут хорошо, нужно обязательно проставляться. Но свечки я ставить не буду. Свечек реально недостаточно. Я лучше займусь благотворительностью…

…Форма сосков, их цвет?.. И еще — эти веснушки, золотистая вязь на ее бледной коже… Интересно, они везде?..

— …А ты парень с головой. Так что придумай-ка мне благотворительную какую-нибудь акцию. Такую, чтоб все утерлись. Такую, чтоб все рыдали. Чтоб я всем стал как отец родной, понимаешь? Чтоб меня потом… ну, знаешь, выбрали. Ну ты понимаешь… Короче, давай, придумай. Фантазия у тебя есть.

И тогда я придумал БаБла.

Был конец декабря, мое время кончалось, Старый жрал суши, а Лисичка тратила баксы. Я придумал БаБла сразу, с ходу, в порыве отчаянья

и вдохновенья. Я придумал БаБла, потому что решил, что напоследок мне не помешает немного бабла…

— Бал Благотворительности Милосердных Монстров, — гордо оттарабанил я.

— Что за хрень? — Старый ткнул палочкой в суши.

— Костюмированный бал-маскарад. Очень пафосный. Очень гламурный. Ксюша Собчак, Земфира, Рената Литвинова, Зверев, ну там, ну не знаю, Федя Бондарчук, всякие телевизионные хари и рублевские жены, несколько олигархов, несколько депутатов, несколько, ну не знаю…

— И что?

— И все одеваются монстрами. Жрут, пьют, танцуют, колются, ебутся, снимаются для ТВ…

— На хрена?

— Вход только по приглашениям. Приглашения только после денежного перевода — со счета милосердного монстра на счет благотворительной организации… Ну, не знаю… «Беспризорная Россия». Да, точно: «Беспризорная Россия». Все деньги идут на помощь бездомным и нищим.

— Бездомные… — мечтательно сказал Старый.

С моей стороны это был правильный ход. К бездомным и нищим Старый питал особую слабость.

С тех пор, как он снял за пять баксов несовершеннолетнюю рыжую шлюху, привез ее с Курского вокзала к себе, в скромный трехэтажный особнячок с видом на Яузу, трахнул, накормил, обогрел и оставил у себя, как приблудную кошку, — с тех самых пор Старый мнил себя заступником малых сих.

Он часто мотал мне нервы, рассказывая про тот, первый их вечер. Как она громко заплакала, когда он сказал ей, что она может остаться…

— Монстры. Хм! Это мне нравится. Бал Монстров. Был такой фильм… Такой фильм… С этой, как ее…

…И как она все не успокаивалась, и всхлипывала, как ребенок, так часто всхлипывала, что никак не могла выговорить свое имя (осторожный и великодушный, Старый сначала выбросил использованный презерватив, потом предложил девушке кров, и уж в последнюю очередь решил познакомиться)…

— Ну, как ее… с негритянкой…

— Хэлли Бери.

— Точно, с Хэлли Бери!

…И как она говорила ему сквозь слезы: «Меня зовут Ли… Ли… Ли…» «Наверно, Лисичка, да, рыжая?» — смеясь, предположил Старый, и тогда

она перестала плакать и сказала: «Лисичка — мне нравится. А вообще-то меня зовут Лиза».

— Бал монстров — это пойдет. Монстры помогают бездомным! А ты парень с головой, да! Монстры… Я соберу их прямо здесь, в «Атриуме».

— Но…

— Снять «Атриум» на ночь — это реально для меня не проблема.

…И как они вместе потом смеялись, и как «Лиза» у них все же не прижилось, зато это милое «Ли» — это «Ли», оно так и осталось… Лисичка Ли — звучит почти по-китайски.

Лисичка Ли — моя рыжая девочка…

Она сказала, что я с самого начала ей нравился. Мне же всегда очень трудно было понять, нравлюсь я ей — или просто не слишком противен. Или же ей вообще все равно. В целом Лисичка вела себя как примерная самка: она не выпендривалась и легко уступала сильнейшему, не забывая при этом, что вокруг пасутся и другие самцы, а сильнейший — степень хоть превосходная, но недолговечная.

Когда Старый не видел, она не упускала случая состроить мне глазки. Впрочем, нет, я снова несправедлив: она их вовсе не строила. Она просто смотрела в глаза; просто смотрела — но

слишком долго и слишком влажно, так, что кровь моя отливала от головы и устремлялась в низ живота. Так, что кожа у меня на спине покрывалась пупырышками — и я вспоминал (генетическая память — великая штука!), что спины моих предков были покрыты шерстью и что шерсть их вставала дыбом при виде таких вот самок…

Но Старый был все же сильнейшим — и она боялась его.

Старый ворочал миллионами и иногда убивал людей (не сам, конечно). Старый не был старым: он просто носил фамилию Старковский (так что кличка прилипла к нему еще в детском саду). Он был старше меня на пять лет. Ему было всего сорок, когда он умер.

А умер он не далее как сегодня.

…Наш автобус движется от одного вокзала к другому; за ночь он объедет их все, и у каждого вокзала он сделает остановку, и люди в масках будут подбирать и втаскивать внутрь все новых полумертвых бомжей — пока салон не заполнится до отказу, пока эта вонь не сделается нестерпимой, пока мы не сделаем полный круг и не вернемся обратно на Курский. Это миссия милосердия. Это маршрут страдания.

На площади трех вокзалов выстроилась целая

очередь обмороженных нищих. Они все хотели в автобус — милосердные взяли лишь тех, кто не мог стоять. Лишь тех, кто валялся в снежной грязи, там, *позади* этой очереди.

По-моему, это глупо. Что толку подбирать самых слабых? Спасать — так уж лучше стоячих: они сильней, у них куда больше шансов выжить.

Эй! Ребята, спасайте сильнейших! А эту падаль вы все равно уже не спасете…

…В первый раз она поцеловала меня на Балу Милосердных Монстров.

Она пришла без костюма (Старый не хотел, чтобы его женщина выглядела как пугало): просто завернулась в дорогие меха, распустила свои рыжие волосы, а на лицо надела маску лисы — простенькую и миленькую, как на детских утренниках. Она была красивее всех — не потому, что остальные пришли с клыкастыми, окровавленными или полуразложившимися рожами, — а объективно.

В ту ночь она *действительно* была самой красивой — но мне, по правде сказать, было вовсе не до нее; ее красота как-то меркла на фоне красоты моей новенькой банковской карточки.

В ту ночь (как и всегда) Лисичка держалась поближе к Старому, я же (впервые) держался как

можно дальше.

В ту ночь Лисичка была для меня лишь смутным рыжим пятном — уже неважным пятном, которое останется в прошлом.

В ту ночь я плевал на Лисичку; я думал о своей карточке, о ее золотистом мерцании, о пятистах тысячах долларов, лежащих на ней… Все оказалось так просто — проще, чем я ожидал. Учрежденный нами благотворительный фонд «Беспризорная Россия» получил хорошую прессу, БаБла Милосердных Монстров анонсировали по всем каналам, Старый выступал на ТВ и по радио, дикторы не забывали время от времени повторять номер благотворительного счета — или пускать его бегущей строкой внизу экрана. Кроме того, довольная физиономия Старого возникла на гигантских рекламных щитах по всему городу — а, вон, кстати, один такой щит, вон он, у Белорусского вокзала, перед въездом на мост!..

Рекламную картинку придумал я сам. Эх, жаль, что они спят, эти вонючие автобусные уроды, жаль, что они не видят, как здорово я все придумал! На картинке Старый дружелюбно обнимает одной рукой довольно опрятную, но в меру несчастную бомжиху, а другой — вполне узнаваемого Филиппа Киркорова в костюме Фредди

Крюгера. Вместо окровавленного ножа Фредди сжимает в усыпанной перстнями когтистой руке пачку баксов; он протягивает пачку бомжихе, та тянется к пачке: идиллия. Как вариант есть еще Ксюша Собчак в черном вечернем платье, с вампирскими клыками и с пачкой, опять же. Слоган: «Стань человеком — прояви милосердие!» (как вариант: «Не надо бла-бла — надо БаБла»). Ну и снизу — номер счета, естественно.

Из простых граждан очеловечиться захотели немногие — и все же, с миру по нитке. В любом случае, на «простых» я не слишком рассчитывал.

Главным гламурным и правительственным монстрам были разосланы тисненные золотом (настоящим!) приглашения на бал; к каждому приглашению прилагался номер благотворительного счета.

Монстры раскошелились по полной.

Попутешествовав немного по счетам дочерних фондов и организаций (кто отправлял чужие денежки в подобные путешествия, тот поймет; кто не отправлял — сочувствую), сумма в полмиллиона баксов обосновалась в конечном итоге на моем новом банковском счете. Собственно, именно такую сумму — 500 тысяч — Старый и затратил на рекламную кампанию и подготовку

БаБла. Свершился естественный круговорот бабок в природе — ничего личного, ничего лишнего. Никто ни о чем не знал, и все были довольны: Старый получил свой пиар, Милосердные Монстры — свое паблисити, телезрители — свое зрелище, я — свой хлеб. Ничего не получила лишь «Беспризорная Россия» — но беспризорной России сколько ни дай, все без толку. Вам ли не знать, а, ребята, ребята в медицинских намордниках?..

На всякий случай — чисто интуитивно — на Балу я держался подальше от Старого, а в кармане имел билет на самолет, который должен был унести меня на другой конец планеты уже через день, от греха подальше. Нет, безусловно, если рассматривать сложившуюся ситуацию во всей ее широте и видеть картину, так сказать, в целом, Старый не должен бы был на меня злиться, узнай он про мою золотистую карточку. Но Старый редко рассматривал картины издалека, он в этом смысле скорее был близорук. Он подходил близко, решения принимал быстро, а стрелял без предупреждения (не сам, разумеется). К тому же работать на него мне стало незачем. Одним словом: в кармане у меня был билет, да…

— …Дамы выбирают кавалеров!

Когда объявили белый танец, ко мне медлен-

но подошла Смерть. Она пригласила меня без слов, одним лишь движением руки. Она не была безобразной — вполне такая классическая старуха с косой: маска-череп, густые белые патлы и черный, до полу, балахон, — но была отчетливо неприятной. Танцевать с ней мне совсем не хотелось — и все же я вежливо кивнул и пошел: рука, манившая меня, была обтянута белой кожаной перчаткой, перчатка же сплошь усеяна немаленькими такими брильянтами. Взглянув на эту перчатку, я понял, что отказываться лучше не стоит: Бог знает, чью взбалмошную богатую сучку я при этом обижу, и, право же, глупо было бы получить пулю в лоб из-за чужой сучки, наряженной Смертью, а вовсе не из-за моей карточки, сияющей и золотистой, как Жизнь…

Я обнял ее за талию, неожиданно тонкую под бесформенным платьем, с чувством легкого отвращения. Мы начали танцевать, и она приблизила ко мне свое костяное лицо. Синтетические седые пряди защекотали мне нос; я приготовился ощутить запах гнили, запах разложенья и плесени — но не ощутил ничего, кроме запаха дорогого парфюма. Только когда она засмеялась, только когда она тихо заговорила — только тогда я заметил пушистые рыжие пряди, выбивающиеся

из-под ее парика.

— Ты же была без костюма…

— Я переоделась, — сказала Лисичка. — Чтобы Старый меня не узнал.

— А зачем тебе от него прятаться?

— Как зачем? — удивилась Лисичка. — Чтобы с тобой танцевать…

— Ты специально взяла с собой костюм, чтобы со мной танцевать?!

— Да, — сказала Лисичка. — Да. Да.

И тогда она приподняла свою маску — чуть-чуть, до уровня носа — и поцеловала меня. Очень нежно.

От нее пахло дорогими духами и дешевой абрикосовой жвачкой. От нее у меня закружилась голова, а голос охрип.

Люди Старого шныряли совсем рядом; некоторые из них косились на нас.

— Нас увидели! — прошептал я, уводя ее в танце подальше от центра зала.

— Не нас, а тебя, — спокойно сказал Лисичка. — Тебя. Как ты танцуешь со Смертью. *Меня* они не узнали.

И она поцеловала меня снова, а я подумал: как это здорово, что я надел свободные брюки. А собирался ведь сначала надеть черные, те, что

в обтяжку…

А потом она спросила:

— Как ты потратишь свои полмиллиона?

И тогда размер брюк снова стал совершенно неважен, потому что кровь моя прилила обратно к мозгам, и в висках застучало, и голова перестала кружиться; я выпустил Лисичку из рук, но тут же сгреб ее снова в охапку; я тряс ее под музыку и спрашивал самое глупое, что только мог, я спрашивал: откуда ты знаешь, откуда?.. А Лисичка Ли говорила: жучки. Она говорила: кассеты. Старый использует мини-кассеты, все твои телефонные разговоры — на мини-кассетах, но их никто не слышал, не бойся, никто, кроме меня, не волнуйся, я сразу же их забрала, и Старый не знает, нет, что ты… Их слышала только я, только я, только я…

Слушая ее шепот, горячий абрикосовый шепот, я в первый раз в жизни понял, что можно убить за деньги.

А можно и не убивать. В конце концов, она очень красива, а я не чужд милосердия, к тому же убить ее не так-то просто, гадюку…

— Половина суммы тебя устроит? — спросил я и почувствовал себя джентльменом.

Она резко остановилась и отдернула от меня

руки. Отдернула и слегка потрясла, точно обожглась о крапиву.

— Ты хочешь больше? — оторопел я.

Она отступила на шаг. Потом еще на шаг. А потом сдернула маску.

Ее лицо было бледным, таким бледным, что золотые веснушки казались коричневыми. В ее глазах были слезы — а может, они просто сверкали от злости. Ее губы кривились — как у ребенка, который вот-вот заревет в голос.

— Мне не нужно твоих денег, — сказал Лисичка Ли. — Я просто хотела отдать тебе все эти кассеты. А то мало ли что.

И она вытащила из-под своего балахона маленький сверток. И отдала его мне.

Если бы я не обидел Лисичку Ли. Если бы она не сняла свою маску…

…Милосердные в масках раздают бомжам хавчик: растворимую лапшу Доширак. Я тоже хватаю лапшу, чтобы не выделяться из коллектива — но есть ее не могу, об этом не может быть и речи.

Никогда не пробуйте есть лапшу Доширак в автобусе, набитом бомжами. Даже если вы очень проголодались.

Я вот, к примеру, не ел больше суток. Но свою порцию я отношу попутчикам в конец салона

(рядом со мной, что характерно, никто не сел — как будто это я воняю, как тысяча дохлых крыс, а не они), а сам возвращаюсь на место.

У Павелецкого вокзала мы подбираем всего троих нищих — но они воняют сильнее, чем семеро с Савеловского… Их сажают на свободные места — то есть рядом со мной.

Если бы я не обидел Лисичку Ли, если бы она не сняла свою маску, все бы было иначе. Старый не увидел бы тогда, что Смерть, эта мерзкая старуха с косой, которую я тискал и лапал, была его женщиной, его рыжей лисичкой. Он бы не натравил на меня своих бритых уродов, и я бы не выронил сверток с кассетами на пол, когда эти гады заламывали мне руки за спину. И Старый не прослушал бы записи, он никогда не узнал бы, куда ушли все пожертвования, он не порвал бы в клочки мой авиабилет, он не забрал бы мою золотистую карточку, и я не оказался бы прикрученным к стулу, в запертой комнате, в его особнячке на берегу Яузы… Если бы только я не обидел Лисичку.

Впрочем, все кончилось не так уж и плохо. Да что там — все кончилось просто отлично, и, если не считать этой вони, я сейчас по-настоящему счастлив.

Моя золотистая карточка снова со мной, мои пол-лимона по-прежнему на ней — я проверил. Рано утром я выйду из этого говновоза, я вдохну полной грудью чистый, морозный воздух, на Курском вокзале меня встретит свой человек, с новыми документами и билетами на поезд Москва—Одесса, вагон плацкартный… «Быстрее, чем за ночь, мы выправить документы не сможем, — сказала Лисичка. — Главное — чтобы тебя не нашли до утра. А утром ты сядешь в поезд. Никто и никогда — поверь мне, никто и никогда! — не станет искать тебя, милый, в вонючем плацкартном вагоне»… В Одессе я встречусь с Лисичкой Ли, мы сядем на паром и отправимся в Стамбул («Никто и никогда не станет искать нас на этой вшивой посудине, среди дешевых блядей и хохляцких спекулянтов, обложившихся своими полосатыми сумками»).

— А разве паромы ходят зимой? — спросил я.

— А как же! — сказала Лисичка.

— Откуда ты знаешь?

— Я плавала.

— «Среди дешевых блядей»?

Она посмотрела на меня грустно и чуть удивленно. Как дворняжка, которую наказывают за лужицу мочи, сделанную вчера и уже впитавшу-

юся в паркет.

— Там были жесткие кушетки, — задумчиво сообщила Лисичка. — И временами сильно качало. У тебя нету морской болезни?

У меня нету морской болезни. Никто и ничто не испортит мне кайфа. Мы поплывем на турецком пароме, я буду пить виски, а Лисичка — ликер, мы будем гулять по палубе и любоваться на волны, всю ночь мы будем качаться на жесткой кушетке, потом мы немного поспим, а потом я опять ее трахну.

Я трахну ее на рассвете, когда мы вплывем в Босфор.

Мы проведем день в Стамбуле, турки начистят нам обувь до блеска, они напоят нас чаем, они сварят нам кофе, они будут пялиться на Лисичку и говорить ей «гюзель», а вечером мы улетим на другой край планеты, мы купим себе шляпы и крем от загара, мы будем есть фрукты, играть в теннис и нюхать кокс, мы будем летать на дельтаплане и купаться каждый день в океане…

И каждый день, каждый божий день я буду говорить ей «спасибо». Ведь если бы не Лисичка — купался бы я сейчас в реке Яузе. Под слоем льда, синий, распухший и мертвый.

Лисичка спасла меня.

Это произошло, когда я уже ни на что не надеялся. Я сидел голый и связанный, на стуле, посреди комнаты. Старый стоял напротив, рассматривал меня и явно скучал.

— Качался? — спросил он наконец, лениво кивнув на мою гордость: ровные кубики мышц.

Сам Старый был слегка тучным — не то чтобы слишком, килограммов десять лишнего веса, не больше, — и спорт презирал.

— Качаюсь, — подтвердил я; прошедшее время мне определенно не нравилось.

— Качался, — поправил меня Старый. — Качался.

Снова повисла пауза.

— Бить будешь? — спросил я, чтобы не было так тихо.

Он мотнул головой. Нет, он не собирался меня бить. Он просто ждал, когда ребята принесут ему тазик.

Старый имел трогательное пристрастие не только к мировому кино, но и к литературе. Настольной его книгой был «Билли Батгейт» Эдгара Л. Доктороу; особенно он обожал сцену, в которой мафиозный босс Шульц приказывает надеть на предателя Бо Уайнберга «цементные

тапочки» (обувка эта, если вдруг кто не знает, представляет собой таз или корыто с цементным раствором, в который следует ступить босыми ногами) и утопить его в море.

Прорубь в реке Яузе, по мнению Старого, была даже лучше моря. Ее проковыряли во льду быстро — а вот цементного раствора, равно как и тазика, в особняке Старого не нашлось. Так что он отправил своих дуроломов купить и то, и другое, — отправил уже минут тридцать назад, но время-то было позднее, и дуроломы все не возвращались (тазик они купили сразу, в «Атриуме», зато с цементом возникла загвоздка), периодически оповещая Старого об очередном фиаско посредством мобильной связи…

Меня трясло.

— Мне холодно, — сказал я, но он не ответил.

Мобильный Старого вновь взорвался позывными из «Бумера» — я вздрогнул всем телом и затрясся еще сильнее, не то чтобы даже от холода; просто умирать не хотелось.

— До сих пор нет? — зарычал Старый в трубку.

Есть такие люди: вроде посмотришь — физиономия как у плюшевого медведя, глазки-пуговки, носик пимпочкой… А разозлится — орел.

Старый относился как раз к такой категории;

когда он злился, мутно-серые его глаза приобретали благородный ртутный оттенок, землистый цвет лица растворялся в аристократической бледности, ничем не примечательный нос становился орлиным, густые брови вздымались и опускались, как смертоносные черные крылья… Одним словом, в гневе он был красив (а поскольку в этом состоянии он пребывал часто, можно сказать, что красив он был большую часть времени).

— Уроды! — орал Старый в трубку. — Езжайте на стройку к Палычу! Пусть он цементу вам даст!..

И в это время вошла Лисичка. Старый ее не видел: он стоял к ней спиной. Зато я все видел отлично. Она была босиком, встрепана, рыжие волосы спутались, правая щека чуть припухла. Она смотрела на него с ненавистью — да-да, с неподдельной ненавистью, с такой ненавистью, что я даже испытал злорадное удовольствие ревнивого самца, хотя, видит Бог, мне было совсем не до этого…

— …А я говорю, у него будет цемент!

По-прежнему глядя ему в спину, она взяла с полки статуэтку (не статуэтку даже, а так, какую-то бронзовую загогулину, кусок, как говорится, современного искусства) и, тихо ступая босыми

ногами, подошла ближе. Она дождалась, когда он скажет «Все, жду!» и выключит телефон — а потом размахнулась и ударила его современным искусством в затылок.

Он медленно, как-то очень картинно, упал.

Он умер почти сразу, сказав перед смертью:

— Мне холодно.

Он все-таки очень любил все эти киношные штучки, бедняга. Ковер, залитый кровью, любимая женщина с окровавленными руками, «мне холодно»… Прям Голливуд. Пока Лисичка Ли не развязала меня и я собственнолично не убедился, что он не дышит, я даже думал, что он притворяется.

Однако же он умер честно.

Стоя над трупом Старого, голый, трясущийся, жалкий, я снова обидел Лисичку. Я спросил ее, чего она хочет. В смысле, сколько стоит услуга. И слегка пнул тело ногой.

И тогда она стала плакать. Она плакала долго и громко, как ребенок, как безутешный ребенок. Она плакала так же, как, наверное, тогда, в первый день, когда ее привел сюда Старый. Она всхлипывала и никак не могла успокоиться, она говорила: «Мне ни… ни… ни…» Я обнял ее и гладил по волосам, и мне стало стыдно, мне стало

ужасно стыдно, еще до того, как она наконец выговорила:

— Мне ничего от тебя не надо. Я сделала это для тебя. Он ведь хотел убить тебя!..

Мне было стыдно. Я прятал лицо в ее волосах и просил прощения.

А она прошептала:

— Если хочешь, я буду с тобой.

Я был голый, а она быстро разделась. Старый смотрел на нас неподвижным окровавленным глазом. Он тихо наблюдал, как я получаю ответы на свои вопросы.

Я узнал, что Лисичка стонет.

И что глаза ее остаются открытыми, а зрачки расширяются, расширяются, становятся огромными и безумными, как два черных полнолуния.

Я узнал, что она пахнет зверем и все еще детством, что на вкус она солоновата, как море, что соски у нее твердые и чуть коричневые, что веснушки у нее только на лице и плечах и что от пупка к лобку вьется тонкая рыжая ниточка.

А потом она дала мне одежду (его одежду, потому что мою Старый выбросил), она дала пачку долларов (его пачку), она дала пистолет (его пистолет) и золотистую карточку. Мою карточку.

Уходя, я спросил ее:

— А как же ты?

Она ответила:

— А что я? Искать будут тебя, не меня. Я просто останусь тут и буду очень безутешной. Я скажу, что когда зашла в комнату, он уже лежал, так, — она кивнула на Старого.

Видимо, на моем лице не отразилось восторга.

— Тебе нужно продержаться всего одну ночь, — сказала Лисичка. — Если мы убежим оба, они просто будут искать нас обоих, и шансов у нас никаких. А так — за ночь я как раз все устрою. Утром ты выйдешь из автобуса, и мой человек… и наш человек даст тебе документы, билеты и новую одежду. Никто и никогда — поверь мне, никто и никогда! — не станет искать тебя, милый, в этом вонючем автобусе. Никто и никогда не станет искать тебя в вонючем плацкартном вагоне. В Одессе мы встретимся. Ты не против? Ведь ты же не против?

Я был не против, потому что это звучало логично. Я был не против, потому что влюбился. Я был не против, потому что Лисичка — мой ангел-хранитель. Потому что сомневаться в ней — грех. Она убила его ради меня. И себе во вред. Это факт. Это парадокс. Я думаю об этом все время, я не перестаю восхищаться ею: Старый был

единственной ее гарантией в жизни. Убив его, она просто теряла все: особнячок на берегу Яузы, деньги, шмотки, духи, побрякушки, дорогие автомобили, прогулки по «Атриуму», — все.

И что она получала взамен?

Старый был женат — но не на Лисичке. Его жена проживала отдельно, в скромной трехэтажной постройке на Рублевском шоссе, и с помощью няни, физкультурного тренера и двух гувернанток воспитывала их общего сына; Старый наезжал к ним время от времени. Лисичка об этом знала. Все состояние Старого было завещано жене и сыну. Лисичка об этом знала.

Так что же она получала взамен?

Меня. Только меня. Да и то без гарантии.

За окном темень, но сейчас уже утро. Мы едем обратно, мы уже совсем близко: вон он, впереди, этот чертов «Атриум», на той стороне Садового. Осталось всего минут пять-десять, не больше. Осталось лишь развернуться у Таганки, проехать совсем чуть-чуть — и мы будем на месте, у Курского.

Сейчас совсем рано, и «Атриум» пуст и мрачен, как заброшенный средневековый замок.

Дела мои идут хорошо, — как любил говаривать Старый. Скоро все кончится. Дела мои идут

хорошо. Свой человек скоро встретит меня на платформе. Я сяду в поезд Москва—Одесса, вагон плацкартный, и наконец посплю. Нет, не так — сначала я отправлюсь в вагон-ресторан и пожру как следует. А уж потом лягу спать. Да, дела мои идут хорошо. Разве что…

Что-то маленькое, незначительное, но настырное не дает мне покоя. Точно тупое сверло, оно ввинчивается в мой мозг. Как забытое дело или слово, как оставленный без ответа имейл, как ошибка в квартальном бухгалтерском отчете, как битые пиксели на новом дорогом мониторе, как завалившийся под диван последний кусочек пазла…

Это *что-то* мне никак не удается нашарить. Возможно, это просто усталость, незначительный сбой в моей нервной системе, какой-то заскок, от которого лучше отвлечься. Лучше просто смотреть в окно — и не думать, не думать…

Я просто смотрю в окно: на дорогу, на светофоры, на «Атриум».

Водитель Автобуса Милосердия включает радио:

— …Рекордная для этого месяца температура; ртутная стрелка опустилась этой ночью до минус тридцати восьми градусов. Однако уже с

сегодняшнего дня температура постепенно будет расти, теплый атмосферный фронт…

— …to understand her you gotta know her deep inside, hear every thought, see every…

— …шшшшшш…

Водитель немилосердно скачет с одной волны на другую.

— …Но только в демократическом обществе, что бы вы там ни говорили, возможны преобразования, сравнимые с…

— …have you ever really really really ever loved a woman?..

— …Пошлю его на-а небо за звездочкой!..

— …к главным новостям. Следствие не сомневается, что убийство депутата Госдумы и владельца компании «Стар-нефть» Николая Старковского было совершено пиар-менеджером компании «Стар-нефть» Андреем Калужским, который, в частности, являлся автором-разработчиком концепции БаБла Милосердных Монстров, прошедшего в ночь накануне убийства в Москве. По словам следствия, для предъявления Калужскому обвинения имеются все необходимые улики. В настоящее время Андрей Калужский скрывается, однако за пределы города, по мнению правоохранительных органов, он не выезжал. «Я просто не

могу поверить, что этот человек совершил преднамеренное убийство, — заявила в интервью верная подруга покойного депутата Елизавета Лесницкая. — Андрей казался таким добрым и честным, он сам придумал и организовал БаБла, прекрасную благотворительную акцию, которая уже помогла сотням бездомных!..»

…Лисичка Ли. Моя рыжая девочка. Как глупо ты меня выгораживаешь… Подожди, скоро все это кончится… Вот, мы уже подъезжаем. Все, вокзал. Автобус остановился.

Никто не станет искать меня в плацкартном вагоне поезда «Москва—Одесса», ведь правда?…

— …Сотрудники уголовного розыска прилагают все усилия для поимки…

Милосердные в масках ходят между рядами. Перекрикивая радио, они голосят:

— Автобус Милосердия прибыл на Курский вокзал! Всех, кто может идти самостоятельно, мы просим покинуть салон автобуса. Тем, кто плохо себя чувствует и не может ходить, будет оказана дополнительная медицинская помощь. Для тяжелых больных предусмотрен дневной стационар.

Опухшие вонючие пассажиры продирают глаза, лениво и неуклюже поднимаются со своих

мест.

— …фото Андрея Калужского и его данные распространены по всем милицейским постам; в аэропортах и на центральных вокзалах ведется усиленное наблюдение…

Я тоже встаю и медленно иду по проходу вслед за горбатым вонючим зомби.

Через окно водителя я вижу машину милиции с включенной мигалкой. Рядом с машиной стоит «командир» — тот, вчерашний ублюдок — и еще целая стая ментов.

«Фото Андрея Калужского распространены по всем милицейским постам». Он узнает меня. Черт, он, конечно, меня сразу узнает. Он ведь видел меня здесь вчера. Он меня точно запомнил. Мне просто не пройти незамеченным!..

Остаться здесь. Мне нужно остаться здесь.

— …Уже сегодня сотрудники уголовного розыска надеются…

— Вы можете ходить самостоятельно! — орет мне прямо в ухо человек в медицинской маске. — Просьба покинуть салон автобуса!

— …И только что мы получили дополнительные сведения по делу об убийстве…

— Я не могу, — слабо шепчу я в ответ. — Медицинская помощь… Мне нужна медицинская

помощь…

Мне нужно остаться здесь. Во что бы то ни стало — здесь. Я отдам им все деньги. Им же тоже нужны деньги, этим милосердным ребятам? Я отдам им всю свою пачку. Эй, пачка баксов за дневной стационар в автобусе для вонючих бомжей — кому?

— Мне нужен стационар! Я заплачу вам деньги!

— Деньги? — морщится парень в маске, оглядывая мои вонючие тряпки. — Какие еще деньги? Давай, давай, выходи из автобуса! — он легонько подталкивает меня в спину.

Изловчившись, я падаю прямо в проход и принимаюсь тихонько стонать.

— Вам плохо? — пугается парень.

— Сердце, — сиплю я с пола. — Или что-то с давлением… У меня проблемы с давлением.

Я закатываю глаза. Я часто дышу.

Я останусь здесь, я не выйду.

— Опирайтесь на меня, — говорит парень в маске. — Вот так, вот так, всего несколько шагов. Медсестра у нас в кабине водителя… Сейчас я вам помогу, вам измерят давление… Сейчас, потерпите… Ну вот, садитесь, закатайте рукав…

Мне измеряют давление — и, о чудо, оно правда

высокое.

Через водительское окно я любуюсь на голодную стаю ментов. Они меня не получат.

Медсестра в маске и парень в маске шушукаются.

— Гипертонический криз, — еле слышно шепчет ему медсестра. — Мы не можем его так отпустить…

— …Тем временем жена покойного Александра Старковская, к которой по наследству переходит компания «Стар-нефть», похоже, унаследует — цитирую — «лишь долги и проблемы»…

— Укол в вену, — шепчет медсестра милосердия, — мочегонное и дневной стационар. Это обязательно…

Он выходит на улицу. Она закатывает мне рукав, смазывает руку ледяной проспиртованной ваткой и вводит иглу. Я смотрю, как убывает прозрачная жидкость в шприце. Все-таки я везучий. Никогда в жизни я не страдал высоким давлением — и нате, пожалуйста, гипертонический криз!

— «…Мой муж уходил от налогов, — открыто заявила Старковская прессе. — За несколько дней до смерти он перевел все активы „Стар-нефти“ на счета подставных фирм, и я не собираюсь

отвечать за преступные проделки человека, с которым я, кстати, давно уже не живу…»

Подставных фирм… Подставных фирм… У меня гипертонический криз, у меня кружится голова и темнеет в глазах, я сейчас потеряю сознание… Подставных фирм… Я трясу головой, я щиплю себя за щеки и уши, я хочу вырваться из этого мутного морока, мне нужно прийти в себя, мне необходимо прийти в себя — потому что я почти отыскал недостающий кусочек пазла…

Я смотрю, как убывает прозрачная жидкость в шприце…

— …эти фирмы формально принадлежат Елизавете Лесницкой. «С юридической точки зрения все законно, — заявил адвокат Елизаветы Лесницкой Геннадий Буркало. — Моя клиентка несомненно является владелицей вышеперечисленных фирм. Фирмы были организованы на законных основаниях, и деньги, перечисленные на счета этих фирм со счетов „Стар-нефти“, вне зависимости от того, с какой целью они были перечислены господином Старковским, теперь принадлежат…»

— Сто миллионов долларов, — говорит медсестра громко и выдергивает иглу из моей вены.

Меня тошнит. Мне трудно дышать. Здесь такая

вонь, такая адская вонь, что можно подохнуть.

Медицинская маска искажает ее голос, но я его все равно узнаю.

Она снимает с головы капюшон, и рыжие волосы красиво разливаются по ее плечам.

— Ты думал, мне нужна твоя говенная карточка? Сто миллионов! Теперь они все мои.

Меня тошнит. В ушах пульсирует кровь.

Рука плохо слушается меня, и все же я нащупываю в кармане холодную рукоять.

— Он не заряжен, — ласково шепчет Лисичка.

— Я скажу им, что это ты…

— Ты не скажешь, — Лисичка наклоняется к моему уху; от нее пахнет духами и абрикосовой жвачкой. — Никогда ничего не скажешь…

— Что ты вколола? — бешено кричу я. — Что ты вколола мне в вену?

Кроме нас, в автобусе никого нет. Милосердные в масках уводят бомжей под руки по направлению к вокзалу.

— Что! Ты! Вколола! — ору я, и один из них оборачивается на мой крик, оставляет бомжа и быстро бежит к автобусу.

— Все в порядке, — говорит милосердному в маске Лисичка Ли. — Не волнуйся, у нас все в полном порядке.

Он смотрит на меня.

Меня тошнит. Я сползаю на пол.

— Она мне что-то вколола… — шепчу я. — Помогите мне…

Кричать я уже не могу.

— Не бьойтесь, это не бьольно, — говорит он и стягивает свою маску.

Это «свой человек». Тот, вчерашний.

— Милосердие, — говорит он с улыбкой. — Мы просто творим милосердие.

К нам подходит еще один в маске. Кивает на меня:

— Что случилось?

— Гипертонический криз, — отвечает Лисичка. — Мы сделали укол.

Я хочу крикнуть: «Нет!» — но язык не подчиняется мне. Я хочу крикнуть: «Скорую!» — но вместо этого только чмокаю и мычу.

Я лежу на полу автобуса.

Я, кажется, умираю.

— Укол не помог, — говорит Лисичка Ли грустно.

— Вызвать «Скорую»? — предлагает ей парень в маске.

— Бесполезно. Он уже умирает.

— Что ж, отмучился, — говорит парень в мас-

ке. — Велико милосердие Божие. Блаженны нищие!.. — он сочно шмыгает носом и крестится.

Меня поднимают с пола и усаживают на водительское сиденье.

Холодно. Просто ужас как холодно.

Я жду милосердия. Оно скоро придет.

Вячеслав Курицын
Золото и героин
Ленинградский проспект

Она шла босиком по Ленинградскому проспекту. В дождевых лужах болтались редкие фонари и луна. Она прыгала из лужи в лужу, радуясь теплым брызгам. Одну красную туфельку она несла с собой за ремешок. Другую потеряла, переходя проспект в районе гостиницы «Советская».

Его мысли были в золоте, как грудь героя — в крестах. Земфира пела про речные вокзалы. Трасса была пуста. Гостиница «Советская» недавно переменила пол: стала отелем Sovetskiy. Проститутки подорожали вдвое. Он резко затормозил, увидев под колесами котенка, вышел из машины. Это был не котенок. Он поднял за ремешок красную туфельку. Туфелька лежала прямо напротив входа в цыганский театр «Ромэн».

Он забрал красную туфельку в машину. Зачем-то. «Вместо девушки». Часы показывали 02.55.

Он опять задумался о поставках якутского золота на смоленские ювелирные фабрики. По проспекту была разбросана дешевая бижутерия

коммерческих палаток, изредка проплывали жирные жемчужины иномарок.

На углу со Степана Супруна маячили девушки подешевле и поплоше. Про Супруна старожилы говорили, что он был летчиком-испытателем. Район насквозь был небесным. Через проспект, на Ходынском поле, разбился Чкалов. Сам проспект вел в Шереметьево.

«Сумасшедшая», — подумал он почти у метро «Аэропорт», увидав, как она прыгает на одной ноге по тротуару. Словно играя в классики. Он заметил красную туфельку в ее руке.

Она долго смотрела, как слева открывается дверь голубого лимузина. Медленно, как во сне, так медленно, что она отвлеклась, вспомнила перекошенное лицо подруги, золотой зуб в кольце фиолетовой помады. Костлявые пальцы, трясущие пучком зеленых купюр, которые она сегодня пыталась у подруги украсть. Ей показалось, что ей подали вертолет. Она решила, что нужно лететь снимать с кремлевского шпиля рубиновую звезду, она наклонилась к дверце. Из глубины салона улыбался человек, протягивая ей ее туфельку.

Она прыгнула в машину, пошевелила губами, но в салоне было тепло, она ничего не сказала,

она поняла, что замерзла. Она задремала.

Дома, при ярком свете, он разглядел тяжелые коричневые узлы на ее голых тонких руках, заглянул ей в глаза. Обнаружил, что они целиком заполнены сияющими рыжими зрачками, расплывшимися, как разбитый желток.

«Горячее… Горячего», — крикнула она, то есть первое слово крикнула, второе еле прошептала. И смолкла, будто сломав голос.

«Чаю?» — спросил он, она покачала головой.

«Ванну?» — спросил он. Она кивнула, он указал ей на дверь, она рывком сорвала с себя коротенькое голубое платье, под которым оказались только узенькие белые трусы с рыжим мухомором. И прошла мимо него, прежде чем он успел сфокусировать взгляд на маленьких титьках.

Когда-то, в юности, он тоже мог бродить по городу без памяти и без денег. Когда-то, в начале карьеры, он торговал героином. Возил пакеты с товаром из Варшавы в Москву. Однажды его поймали в поезде «Полонез», на Белорусском вокзале, чудом ушел, метнувшись под состав, через запасные пути. До сих пор бы грел нары.

Через пошив адидасов в артели инвалидов, видеосалоны в парках культуры и автосалоны в бывших кинотеатрах он пришел к золоту.

Золото — оно наподобие героина. Вещь простая, однородная, дорогая и вмещает в себя все прочие вещи.

Она находилась в ванной уже опасно долго, он стукнул в дверь, чтобы сказать ей об этом, И передать ей халат. Она не отозвалась, он толкнул дверь: она, перегнувшись костлявой закорючиной, заглядывала в зеркало. По лицу ее скользили тяжелые черные тени, а зеркала ему было не видно: быть может, лицо отражало тени из зеркала. Он окликнул ее: она схватила с полочки под зеркалом маникюрные ножницы, вышвырнула из ванной свое хлипко-хрупкое тело. Гладкое, а лобок заросший, буйным кустом: как раз так он и любил.

Она бросилась на него, он попытался перехватить ее руку, она увернулась и глубоко пропорола ему ножницами кожу чуть выше уха, он отскочил, оросив кровавым веером ковер с гордым орлом. Споткнулся, наткнулся на телефонный аппарат: она взмахнула рукой, чиркнула ножницами, и в руке его оказалась трубка с жалко болтающимся отрезанным шнуром; он подумал «верно», нащупал мобильный. Отобрал ножницы, запихнул ее обратно в ванную и разбудил стремительным звонком друга, владевшего част-

ным наркологическим пансионом.

Она не сразу стала его узнавать, но когда он пришел к ней в третий или четвертый раз, она улыбнулась. Улыбка была кривая, будто губа подрезанная, будто проспект раздваивается надвое, и он захотел ее еще сильнее.

Они гуляли по прилегающему к пансиону парку, она съедала по две-три ягоды из торжественного свежайшего килограмма. Долго задерживала ладонь на коре дерева, внимательно наблюдала за божьей коровкой, сосредоточенно чертила прутиком на песке кружки и стрелы, пока у него тилибомкал телефон.

Он поражался, как медленно она все делает, как тихо скользит ее взор и течет ее кровь. Он сам замедлялся и ковырял кору, и находил гриб. Выходя за ворота пансиона, он швырял стрелку на спидометре далеко вперед, отыгрывая потерянные с ней минуты. Этот перепад в ритмах изрядно поразил и смутил его.

Она просила привозить ей книги, и он сам, не доверяя почему-то референтам, покупал ей в магазине Пушкина и Достоевского, взвешивая на ладони тяжелые тома. Прикидывая, сколько бы весил такой кусок золота и сколько нужно времени, чтобы прочесть такую книгу; он даже

пробовал читать. Читать не получалось, жизнь сбилась с пульса, в ней появились провалы и паузы, она словно обмякла, потеряла упругость. В его собственную стрелообразную судьбу вплелась теперь путаная нить его подруги. Во время встреч с ней он вдруг начинал прокручивать в голове сцены вчерашней стрелки, ища слабые места в своем выступлении.

А во время решающих переговоров он вдруг замолкал надолго и видел, закрывая глаза, ее лицо и коричневые узлы на тонких руках: через две недели он понял, что у него каждый день болит сердце. Наверное, от перепада давлений и скоростей. Он сделал то, что собирался сделать уже несколько лет: заказал себе песочные часы с золотым песком, и поставил их на столе в кабинете, и стал еще чаще выпадать из жизни. Прерывая вдруг диктовку или разнос, он переворачивал колбу и зависал над мерным ходом тусклых желтых песчинок.

Ей выкачали половину ее собственной крови и залили много литров чужой: она не знала, что в том числе и его крови. Она подолгу спала, вслушиваясь в гудение чужих кровей.

Она пыталась упокоить-организовать их в себе, в своем слабеньком организме: приручить, ском-

бинировать, сжиться. Она увещевала, потакала, ласкала и уговаривала. Но какая-то одна кровь всегда не хотела устаканиваться: как вдруг в законченном почти пазле последним фрагментом оказывается враждебный-чужой. Тогда она швыряла с разбегу свое тело об стену или бросала в окно графин. Или кидалась в ноги уборщице и начинала кусать грязную тряпку. Кровям не хватало для взаимного упокоения горячей смазки. Тогда она ползла канючить укол, который ей полагался вообще-то на этом этапе лечения, но в другое время и в малой дозе.

Он выведывал у друга-нарколога, может ли она вылечиться, а друг говорил, что может, но очень не скоро и не совсем, ибо героина сквозь нее прошло как через склад наркомафии. Но у него есть коллега, владеющий клиникой где-то в Альпах, на волшебной горе, и там клиентам так замедляют жизнь, что препарат им нужен раз в полгода и они могут жить так хоть до ста лет. Друг говорил, что не сможет держать ее долго в своей клинике, что по новому закону о наркотиках частные клиники вот-вот запретят и больные пойдут либо в подвалы, либо в государственные душегубки с решетками и мордобоями. Друг говорил, что главное ей сейчас соскочить с той

карусели кровей и бед, что кружится в ее теле и голове, что ей нужно сменить образ жизни, уехать на воды или на курорт, читать книжки и загорать на пляже. И ничего не делать, чтобы там не было старых друзей и старых улиц, где каждый куст напоминает о грязном шприце, чтобы там журчала чужая непонятная речь и пели на крышах незнакомые птицы. А когда он спрашивал: «Надолго?», друг некоторое время думал, а потом отвечал: «Надолго».

Он тогда заперся в кабинете, отключив всю связь, поставил на середину столешницы часы с золотым песком. И долго считал свои деньги, существующие в недвижимости, акциях, драгоценностях, банках, и понял, что ему хватит их до конца жизни и еще немножко останется детям, а если акции останутся работать в его предприятиях, то останется и внукам. Он пошел к компаньонам и сказал им, что хочет соскочить и исчезнуть навсегда, что готов передать все свои части и доли в их управление на выгодных им и скромных для него условиях, но главное — именно сейчас, ему нужно соскочить именно сейчас и никогда более. Компаньоны подумали и начертили на больших листах белой бумаги схему их общего бизнеса, по которой было видно,

какое количество его, только его личных связей держат дело, какие маршруты денег и золота завязаны только на нем. «Передай все связи нам, потом соскакивай», — сказали компаньоны. «На это уйдет полгода», — взмолился он. «Ничего не знаем», — сказали они.

Он тогда перевел все деньги, до которых смог дотянуться, на анонимный счет в далеком банке: этих денег бы не хватило на всю жизнь и не хватило бы детям, но хватило бы на полжизни, а это, если разобраться, не так уж мало. Он запихал все свое оставшееся богатство на безымянную пластиковую карточку, купил два фальшивых паспорта и билеты на самолет, заскочил к другу — владельцу клиники за запиской для сторожа и поехал за ней. У кинотеатра «Баку», где когда-то был его первый автосалон, началась пробка, каких никогда не бывало в этих краях.

Она, догадавшись, что он не был у нее уже три дня и, значит, бросил ее, решила в ту ночь покончить с собой. Она давно украла ключ от чердака и теперь выбралась на край крыши, чтобы броситься головой в темно-зеленые кроны. Пройти их насквозь и остаться лежать уже неживой на покрытой оранжевым гравием аккуратной тропинке. Она сосредоточилась, глубоко вздох-

нула, подобрала живот, рассчитала траекторию прыжка, собрала в кулачок все силы и заснула от перенапряжения.

Он в этот момент стоял на переезде у платформы «Гражданская», яростно глядя на часы и дожидаясь, пока пронесется мимо длиннющий товарняк, в котором было, наверное, сто или двести вагонов.

Она стояла с закрытыми глазами на самом краешке крыши и спала. И ей снилось, что она одумалась, вернулась в свою комнату и легла спать со счастливой детской улыбкой, что осталась жить. На самом деле она шагнула с крыши на длинную ветку высокого дерева, уходящую к середине парка, и пошла по ней. Не открывая глаз, как канатоходец. Хотя до этого она ни разу не ходила по проволоке и вообще у нее был отвратительный вестибулярный аппарат.

Он примчался в пансион, разбудил сторожа, показал ему записку от хозяина, вошел в парк, поднял глаза к окнам ее комнаты и обнаружил, что она идет высоко над ним, покачивая руками, как птица крыльями в замедленной съемке. И белая ночная рубаха колышется в парном ночном воздухе. В кармане у него запищал пейджер, который он забыл отключить: это компаньоны,

обнаружившие непорядок в счетах и его личное исчезновение, просили его образумиться. Услышав писк, она вздрогнула, открыла глаза, нога скользнула, и она рухнула вниз — ровно в его подставленные руки.

Их самолет взорвался, когда уже шел на посадку. Сначала фиолетовый дым три минуты густо окутывал салон, и это были самые страшные минуты их жизней. А потом уже грохнул взрыв, который лишил их сознаний.

Он очнулся очень быстро, от пылающего самолета шел нестерпимый жар, она лежала рядом. Вывернув шею, как казненный цыпленок. Он перевернул ее на спину, она тут же открыла глаза.

Он похлопал себя по карманам, вытащил бумажник — пластиковая карточка оказалась сломанной, электронный блокнот, где был записан номер счета, разбит вдребезги. Чемодан, где этот номер был продублирован на бумажке, сгорел в багажном отсеке, у него теперь не было никаких способов пробраться к своим деньгам.

Они были теперь обречены вечно крутиться на счетах далекого банка и обогащать его хозяев, как золото убитых евреев много десятилетий после войны крепило могущество банков Швейцарии: он сказал ей об этом, она кивнула.

«Я еврейка», — сказала она. «Молодец», — сказал он. «Надо уходить», — сказал он. «Я не могу попасть в телекамеру, меня найдут и убьют», — сказал он. Они легко встали на ноги и пошли прочь, вокруг стонали умирающие, женщина бормотала на чужом языке, но изо рта шло больше крови, чем слов. Валялись части тел, голова собаки, которую везли в специальном ящике на соседнем ряду, была оторвана, но еще пыталась тявкать. Похоже, кроме них никто не уцелел; до леса, в котором можно было укрыться, было километра полтора-два.

Останки самолета и пассажиров были сильно разнесены вокруг: уже на середине пути к спасительной роще они наткнулись на труп крупного человека в «Версаче». Этого человека он видел в самолете, заходящим в первый класс: лицо человека было размозжено в слякоть, костюм не пострадал и выглядел как на манекене. «Гляди», — сказала она.

«Смотри», — сказала она: подкладка на роскошном пиджаке лопнула, и оттуда вывалился и в свою очередь лопнул черный целлофановый мешок. Она присела на корточки и взяла в ладони горсть сероватого порошка: откуда ни возьмись в горсть запрыгнуло и поползло, увязая в порошке,

яркое изумрудное насекомое. «Да?» — спросил он. «Да, — ответила она. — Никаких сомнений». Это был героин.

Ему предлагалось начать еще раз с того же самого, и это было кстати, потому что они оказались в чужой стране без денег, без судеб и с засвеченными документами: они не найдут трупов с их именами и объявят розыск. Деньги, срочно нужны деньги. Она сидела на корточках, и лицо ее сначала резко порозовело, а потом почернело, будто бы она уже укололась.

Она бросила порошок, задрала трупу рукав пиджака, «Ролекс», — сказала она. Часы «Ролекс» продолжали тикать — толстый золотой браслет, циферблат с крупными бриллиантами.

Ну вот, часы. На этот раз он начнет с часов.

Людмила Петрушевская
Новый район
Пражская

Дело было в Москве, в новом районе. У одного инженера, сотрудника министерства, были очень плохие отношения с женой. У них имелась двухкомнатная квартира со всей обстановкой, ковры, сервизы, цветной телевизор, и все это при разводе жена требовала себе. Муж был не из Москвы, а откуда-то из-под Тулы, пришел к жене в дом буквально, что называется, с голым задом, со студенческой скамьи. Они вместе учились, сошлись, у них должен был родиться ребенок, и его заставили жениться, вплоть до исключения из института. У него же была девушка курсом старше, они собирались пожениться и уехать подальше, но дело сложилось так, что этой девушке в случае его отказа жениться на беременной однокурснице не давали на руки диплома, поскольку отец беременной побывал во всех инстанциях. Стало быть, его заставили жениться, причем не просто так, а как следует, не просто пришли, расписались, посидели у родителей и разошлись,

а как следует. То есть он был вынужден ради диплома своей любимой девушки (и она этому не противилась, хотя лила горькие слезы и хотела выскочить в окно, когда он прощался перед уходом из общежития в загс и за ним приехал отец беременной однокурсницы на машине, на собственной «Волге»), — он, стало быть, был вынужден пойти жить в тот ненавистный дом и как бы состоять под надзором все время, пока учился в институте, то есть два года. А за это время его любимая девушка уехала, ее распределили куда-то на Кавказ, где она вышла замуж за дагестанца, крупного работника, и родила девочку, а у девочки оказались какие-то приступы чуть ли не эпилепсии, она регулярно синела и задыхалась, так что врачи не рекомендовали матери бросать кормить грудью, и она кормила ребенка чуть ли не до шестилетнего возраста — покормит девочку кашей, а та показывает; а теперь вот это. Все обстоятельства Василий узнал, когда однажды, уже после окончания института, встретил в пивбаре товарища, он работал как раз в химпромышленности и ездил на родственное предприятие в Дагестан, а заодно и повидался там с бывшей своей однокурсницей, все выяснил: у ее дочки, оказывается, припадки были от скрытого аппен-

дицита, вырезали, наконец, аппендицит, и общие мучения кончились. Василий к тому времени уже забыл свою прежнюю любовь, а про детей и вообще слышать не хотел, потому что после его женитьбы жена выкинула шестимесячный плод, лежала в больнице, и ребеночек, после месяца жизни в инкубаторе, подумаешь, что в нем было, двести пятьдесят граммов, пачка творога, — он умер, его даже не отдали похоронить, у него и имени не было, его оставили в институте. Целый месяц были эти мытарства, у жены открылось молоко, она четыре раза в день ездила в институт сдаиваться, а ее молоком не обязательно кормили именно их «пачку творога», были и другие, блатные дети, которые выжили, один был даже выживший пяти с половиной месяцев. Жена не могла проконтроливать всего, ее вообще не пускали к инкубатору, даже не дали взглянуть на малыша, даже когда он умер, она стонала после этого дни и ночи. Тесть тоже прилагал все усилия, чтобы посмотреть, они делали подарки медсестрам, но трупика им не выдали. Не знал тогда тесть, кого надо было подкупать: истопницу-пропитушку, она была бы рада за пол-литра и самой не делать грязное дело, за которое ей даже не доплачивали, — почему она в пьяном виде и

скандалила, орала в канцелярии института. В общем, Василий жил в этой семье чужой и одинокий, жена страшно раздражала его слезами, но и себя ему тоже было жалко, ребеночек был бы ему очень кстати, хоть одна была бы родная душа в этом мире. Но он был такого характера, что до поры до времени затаился. Жена его просто из кожи вон лезла, чтобы заиметь опять ребенка, но Василий очень берегся, берег свою сперму как зеницу ока, делал все, чтобы жена не могла забеременеть.

Родители жены тут же после свадьбы стали строить кооператив для дочери и построили его на ее имя. В случае чего Василий не мог бы ни копейки забрать у нее, это был официально заверенный у нотариуса долг жены ее родителям, и как общее нажитое имущество квартира считаться не могла. Везде подстелили соломки родители жены, одного только не учли, что они не вечно будут скручивать пружину, однажды она развернется с тем большей силой.

Наконец жена Василия все-таки забеременела, очень уж она хотела ребеночка, загладить память о «пачке творога», а в таких случаях как с неба каплет, хоть оберегайся, хоть нет, подпоит, снотворного подсыплет, с чужим мужиком

трахнется, а своего добьется. Да и не всегда муж за себя отвечает. Короче, родилась у них дочка (а тот, первый, был сын), назвали ее Аленушка. Аленушка-солнышко росла на глазах у отца, чернявенькая, вся в него, потому что мать, Тамара, была как белая моль. Василий любил дочку, даже в ночь убийства, на Новый год, когда он уже почти убил жену, а тут как раз дочка заплакала — он подошел к дочке, убаюкал ее, а потом вернулся к жене в ванную и домолотил ее окончательно, раздробил все кости лица и отрезал пальцы, чтобы не опознали. У него уже был, кстати, приготовлен большой двухметровый пластиковый мешок, в каких хранят шубы, но как он справился с кровью, никому не ведомо. То ли он вымыл Тамару под холодным душем, но как-то он управился, крови не было нигде, он завернул ее сначала в клеенку, так он рассказывал потом, уложил в мешок, мешок сбросил с балкона в снег (была вьюжная ночь) и так, чтобы пронесло мимо окон, а дом их выходил на стройку, где из-за праздника в ту ночь никто не работал. Василий положил в пальто пальцы Тамары, как-то так он умудрился их отделить без стука, видимо, просто отрезал. Еще он взял с собой саночки дочери, аккуратно спустился, уложил труп на саночки и отвез

на стройку, где и положил куда-то под плиту, а пальцы положил в трубу, а сам стал ждать весны, откроется дело или нет.

Он заявил в милицию о пропаже жены, ему, конечно, не поверили, тесть с тещей подробно рассказали, как он вел себя вообще, а на работе рассказали, что он жил с одной страшно подлой бабой, которая держала его на крючке и требовала от него денег, но замуж за него, разведенного, идти не хотела, поскольку он к своим тридцати двум годам снова бы оказался с голым задом, уйдя от жены. Даже машина, которую ему устроил тесть, была по договоренности записана опять-таки на долги жены перед родителями, они опутали его со всех сторон, ему в этом мире ничего не принадлежало.

Но теперь-то, после смерти жены, он по крайней мере четыре месяца, до апреля, мог жить спокойно, до таяния снегов, да могло и так оказаться, что труп давно уже был забетонирован на стройке. Он как-то вскоре после убийства наведался на стройплощадку, но своей захоронки найти не мог, все было завалено грудами материалов, все следы занесены снегом.

Родители жены забрали к себе дочку, а с ним самим регулярно беседовала женщина-следова-

тель. Он все время повторял, что жили плохо, поссорились с женой на Новый год, она оделась и ушла к родителям, а дочку будить он ей не дал.

Наконец оттаял снег, но ничего не произошло, так как труп жены действительно не обнаружился. Но как-то однажды, в начале мая, Василий собственной персоной пришел с повинной к следовательнице и показал, что убил жену сам. Следовательница потребовала, чтобы он доказал свою виновность, тогда он повел ее и всю команду к строительной площадке, где уже возвышался почти построенный дом. Трупа не обнаружили, доказательств не оказалось, в ту людную новогоднюю ночь вообще никто не видел ни трупа, ни санок, ничего, и Василия отпустили. Правда, стали поговаривать, что все же совесть не дала ему спокойно спать, потому что он не выдержал и признался, да и ту подлую бабу из своего министерства совсем забросил, то есть, короче говоря, переменился.

Но он-то, Василий, позвонил тестю с тещей и сказал, что из крана торчит палец с маникюром. Тесть возразил ему, что если он так говорит, что он положил пальцы отдельно в трубу и это оказалась водопроводная труба, то за тот месяц, пока течет вода в новом доме, палец должен был

просто разложиться, распухнуть, а тем более он не мог пройти через водозаборный насос, и вообще что общего имеет соседняя водопроводная система с уже давно построенным домом? Так он говорил ему и успокаивал, а Василий совсем ополоумел. Конечно, приехав, родители жены ничего не нашли. Василий сказал, что боялся заходить в ванную, что, наверное, палец ушел в слив.

И в доказательство он предъявил им чешуйку красного лака, найденную им на полу, но эта чешуйка опять-таки никого не устроила, мало ли, была тут какая-то баба с маникюром, так что Василий все еще живет, как отщепенец, и все видит в разных местах разбросанные волосы, и все их собирает для вещественных доказательств.

Андрей Хуснутдинов
Постой
Бабушкинская

В «измайловской» «Дельте» у него оставался оплаченный до следующего полудня «люкс», но он решил больше не показываться там, да и вообще на неделю-другую забыть о гостиницах: базы данных регистратур уже наверняка шерстили. Поплутав с час по метро и порядком взопрев, он вышел на Бабушкинской. В торговых павильонах у подземного перехода промышляли расквартированием тех, кто нуждался в недорогом и не требовавшем регистрации посуточном жилье. Так, еще через полчаса, заполучив адрес, он направлялся в обход заваленного снегом Раевского кладбища к двенадцатиэтажке по Олонецкому проезду. Низкое ночное небо было затянуто мучнистой мглой, едва снежило.

На пороге подъездного тамбура его встретила старуха, как будто сошедшая с довоенной фотографии: в чиненом бушлате и больших валенках, вынуждавших держать ноги расставленными, так что осанка ее напоминала позу хоккейного

голкипера, в пуховом платке, завязанном на затылке, она сначала взяла и пересчитала деньги, затем потребовала паспорт и, уверенно разломив книжицу на нужной странице, скомандовала ему встать «на свет». Вельцев не только не выказал возмущения, но, подавшись к освещенному окну, стянул шапку с головы. Его физиономию на снимке старуха изучала долго и дотошно. Что-то там ей явно не нравилось. Она шмыгала мясистым носом, дальнозорко щурилась и покусывала клыком нижнюю губу. Чувствуя, что начинают мерзнуть уши и темя, Вельцев надел шапку, полез в карман за сигаретами и тут увидел, что старуха рассматривает уже не фотографию, а визы. Он хотел спросить, в своем ли она уме, но старуха опередила его, возвратив паспорт и дав отмашку следовать за ней в дом.

Стены подъезда хранили следы недавнего пожара. Новые двери квартир на первом этаже являли собой разительный контраст со всеми прочими поверхностями, либо закопченными, либо шелушившимися. Ключом, похожим на те подкалиберные отмычки, которыми пользуются в поездах проводники, старуха открыла смотревшую в тамбур дверь и оглянулась, пропуская Вельцева перед собой. Он вошел. Огонь в свое

время вовсю похозяйничал и в прихожей. Это было ясно по новому пласту линолеума на полу, по новым обоям на стенах, по новой краске на потолке и той очевидной, хотя и расплывчатой грани, где все это новое и свежее, вдаваясь в квартиру, ограничивалось старыми, не тронутыми плазмой покровами.

— В общем, так — мимо унитаза не лужить, в ванну не ссать. На *станке* не курить, — напутствовала старуха из подъезда полушепотом. — Отдыхай. Телефон в кухне. Если что, баба Агафья я… — И, прежде чем Вельцев успел опомниться, закрыла дверь. Ключ дважды повернулся в замке.

Вельцев подался обратно и, вспоминая что-то, о чем хотел спросить, слепо шарил пальцами по двери. С внутренней стороны отпирающая ручка отсутствовала — была только шатавшаяся на болтах скоба. В поросшей грязью замочной скважине виднелся трехгранный стержень. Вельцев пошел в кухню, чтоб позвать старуху через окно, но, отдернув занавеску, обмяк: забранное решеткой и бесшумно полыхавшее новогодней иллюминацией окно выходило на задний двор с кладбищенской оградой, подпираемой гаражами. Окно единственной комнаты, судя по плани-

ровке, смотрело туда же. Проверять это не было никакой нужды, тем не менее, протиснувшись между крытой ковром кроватью и шифоньером, Вельцев заглянул за парчовую штору. Не то чтобы открывшийся вид поразил его — на заслонявшем створ куске фанеры была наклеена большая фотография тропического водопада, — но если бы ему предложили угадать, что он увидит за шторой, это, наверное, было бы последнее, что он решился тут допустить.

Оглядевшись, он сел на кровать и покачал задом. Мелкие недра отозвались заглушенным треском пружины. Комната пропахла табачным дымом. С грошовой, в три разноцветных плафона, люстры свешивался на шнурке игрушечный человечек.

Расстегнув пальто и устало облокотившись на ноги, Вельцев отрешенно уставился в пол. В принципе, наверное, было даже и неплохо, что его заперли — не переносивший одиночества в первые часы и дни после *заказов,* он, отлежавшись, нынче бы наверняка отправился искать себе приключений на голову. Тем более что вчерашняя кровавая баня на Тверской никаким *заказом* вовсе и не была, а была — чего уж там говорить — беспределом, его, Аркаши Вельцева,

самодеятельностью, самосудом и сумасшествием: шесть трупов, два из которых — если не пускаться в уточнения вроде того, что местом действия послужил закрытый для простых смертных ночной клуб — «случайные прохожие»…

— Это называется мышеловка. Я — сыр.

Вельцев механически просунул руку к пистолету в подмышечной кобуре и обернулся на голос. В простенке за дверью, забравшись с ногами в облезлое кресло, сидела девица лет восемнадцати-двадцати, в цветастом узбекском халате и сбитой на ухо тюбетейке. Жирно накрашенный рот и брови взрослили ее. Она прятала улыбку, довольная тем, что до сих пор могла так просто скрывать свое присутствие, и катала в пальцах незажженную сигарету. Вельцев опустил руку и расправил полы пальто.

— Ты кто?

Закурив, девица пустила струю дыма в потолок.

— Лана, — представилась она таким тоном, будто была удивлена, что этого можно не знать. — Я же говорю — бесплатное приложение.

Вельцев стащил шапку и почесал голову.

— Так вот зачем бабка дверь заперла. Я не говорил, что…

— Сказку про Буратино помнишь? — перебила его девушка. — Где котел был нарисованный?.. Вот. Там — котел. Тут — свобода.

— Какой еще котел?

— А чего ты воображаешь, когда хочешь в отпуск?

— Ничего.

— Неправда. Ты воображаешь… — Мечтательно прищурившись, Лана столкнула тюбетейку на лоб и запрокинула голову с выставленным подбородком. — Пальмы. Океан. Коктейли шлангами. Бабы косяками. Вот и пожалуйста. — Она кивнула на окно, придержав шапочку. — С бабами, конечно, у нас не очень. Чем богаты, как говорится. Но свободы — по самое не хочу. Тебя как звать-то?

— Послушай, — вздохнул Вельцев. — Я только хотел перекантоваться.

— Вот-вот, — туманно поддакнула Лана. — Только перекантоваться… — Стряхнув пепел в блюдце под креслом, она поигрывала сигаретой, словно договаривала фразу про себя.

— Переночевать, — поправился Вельцев.

— Вчера, — улыбнулась она, — один дяденька, знаешь, что попросил меня сделать?

— Что?

— Попысать ему на срам.

— И что?

— Ничего. Ошпарить яйца, и все. Каждому, как говорится, свое.

Вельцев взглянул на часы.

— Что тебе еще предлагают?

Лана почесала локтем выпиравшую из-под халата коленку.

— Замуж! — Она нацелилась в него сигаретой. — А то не слышал, что из проституток — самые верные жены?

Вельцев устало прилег. Подвешенный к люстре человечек оказался как раз против его лица.

— Слышал другое.

— Что?

— Что жены — верные проститутки.

Лана захохотала:

— Женатый, что ль?

— Нет.

— Девственник?

Он повозил затылком по жесткому, как щетка, ворсу ковра.

— Слушай, отстань.

— А я — да, — понизила голос Лана.

— Что?

— Ну, девственница.

Вельцев вздохнул.

— Конечно.

— Нет, честно! — Кресло под Ланой заскрипело. — Не веришь? В прошлом месяце зашилась. Меня узбек сватал андижанский, барыга хлопковый. Пока состав с грузом ждал. Влюбился, говорит, по самое не хочу. Машину даже обещал. Только, говорит, нельзя по обычаю нашему, чтобы в первую ночь ложа не окровить. Дал, короче, сто баксов на пластику.

— А что ж ты, — Вельцев поковырял пальцем ковер, — за старое?

— Нет, зачем? — искренне удивилась Лана.

— Что — зачем? — не понял Вельцев.

Лана промолчала.

— Извини.

— В общем, не дождался *Шарфик* мой поезда своего. Грохнули женишка. В Яузе вон, за кладбищем, вылавливали.

— Прости.

— Да ладно. — Она длинно выдохнула дым. — У каждого своя клиника. Вот и *Шарфик* гешефт свой хотел сюда перетащить, потому что запал тут на что-то. А это как из поезда прыгать за мухами. Представь? Ты бросаешь все, что у тебя есть — все-все-все, — и сходишь на первой остановке.

— Ну? — приподнялся на локте Вельцев.

— Ну и — все, приехали… — Лана раздавила окурок в блюдце, спустила ноги с кресла, сходила в прихожую и вернулась с фотографией, которую бросила рядом с ним на кровать.

На мятом глянцевом обрезке Вельцев увидел улыбчивого южного типа со сросшимися бровями. Снимок был сделан со вспышкой, с близкого расстояния, практически в упор. Лицо вышло нерезким, пересвеченным, зато позади вверху оказался во всех деталях запечатлен подвешенный к люстре человечек. С обратной стороны снимка тщательно, как монограмма, фломастером была выведена прописная «Ш». Вельцев повертел фотографию в пальцах, затем отшвырнул ее, сел на краю кровати и провел кулаком по лбу.

— Ты что? — спросила Лана.

Медленно, не соображая еще, что делает, он достал бумажник, раскрыл его и взглянул в бархатные слоистые недра.

— Ты что? — повторила Лана, приблизившись.

Вельцев спрятал бумажник и снова уставился в пол. Фотография напомнила ему о чем-то важном и в то же время упущенном из виду, кольнула горячим под ложечку, — но и только, так что в следующее мгновение он даже не мог сказать, что

именно дало знать о себе — вещь, воспоминание или предчувствие.

Лана подобрала снимок, подула на него и засунула между стеклами серванта, сдвинув бумажную иконку.

— Чаю будешь? — спросила она, встав на пороге комнаты. — Или, может…

Вельцев опять прилег.

— Ты без меня пока там. Свет выключи. Мне тут надо… немного…

— …перекантоваться, ага, — договорила Лана, хлопнула по выключателю ладошкой и закрылась в кухне.

Навалившись на локоть, Вельцев закурил и снова растянулся на ковре. Сигарету он держал в откинутой руке на весу, чтобы пепел падал на пол, другой — вхолостую ворочал кремнем зажигалки. Из кухни вскоре послышался приглушенный смешливый голос — Лана говорила по телефону. Вельцев попробовал вспомнить неумело накрашенное лицо девушки, однако вместо лица ему почему-то вспомнилась выпиравшая из-под халата коленка.

Давно, года три назад, он набрел в Интернете на статью, в которой доказывалось, что расположенность мужчины к убийству и к женщине

имеет источником один и тот же невроз — какой именно, Вельцев так и не понял, хотя прочел статью дважды. Ученому автору он был признателен не за его темные разглагольствования, а за то, что связь между склонностью к убийству и влечением к женщине получала хоть какое-то признание. То есть то, что прежде он считал имевшим отношение к нему одному и мыслил как постыдное, вроде первой поллюции, в одночасье перестало быть как уникальным, так и сомнительным. После своего первого заказа, промаявшись сутки без сна, он исповедовался в Рождественском монастыре. Для душевного спасения этот поступок не возымел последствий, зато материальных результатов было хоть отбавляй: по дороге из монастыря Вельцев перевернулся на машине, заснув за рулем. Его первой женой стала студентка мединститута, в тот день вышедшая на свою первую стажировку в Склифе. Тогда, не столько в травматологии, сколько в общежитии, она буквально возвратила Вельцева к жизни. Следующим утром он будто проснулся в новом мире, а еще неделю погодя — с легким сердцем и даже, что ли, с чувством бескорыстного благодеяния — застрелил досаждавшего ей тульского ухажера-пропойцу. С Оксаной они прожили душа

в душу два с половиной года, и то, что Вельцев приносил домой под видом получки инспектора по кадрам в ЧОПе, он безо всякой задней мысли называл совместным доходом семьи. Секс (не со всякой женщиной, конечно, а с той, которую он считал *своей)* для него был средством отпущения грехов почище любой исповеди. Будучи со *своей* женщиной, он возобновлялся телом и совестью, каждое такое объятие виделось ему рождением новой, прекрасной жизни — сто крат лучше его собственной и тысячу крат лучше тех, которые он отнимал. Фильм «Бонни и Клайд» он поэтому считал надуманным — половая привязанность не могла служить героям подспорьем в бою, если только они не были гомосексуалистами, — а единственное оправдание схожему сюжету «Прирожденных убийц» находил в том, что под занавес кровожадные персонажи делались любящими родителями, перерождались в детях. Такими же любящими родителями он представлял и себя с Оксаной — до тех пор, пока (на почве богатой травматологической практики, надо думать) ее не стал беспокоить телефонными звонками Господь Бог. Звонил Бог всегда в отсутствие Вельцева, говорил много, на вопросы не отвечал и, прежде чем отключиться, начинал тяжело хри-

петь в трубку. «Ужас, — виновато признавалась жена. — Слышу все хорошо, а разобрать ничего нельзя». За полгода, миновавших между первым звонком и той памятной для Вельцева ночью, когда Господь решил заговорить устами Оксаны и ее с судорожными припадками отвезли в 4-е отделение Канатчиковой дачи, она смогла вполне усвоить только два божественных откровения: «Все будет джага-джага» и «Мальчики кровавые в глазах». Второй брак, супружество Вельцева с Дашей, которая не любила его, вышел, как ни странно, более продолжительным, длился без малого четыре года, но распался в одночасье — разлетелся кровавыми брызгами вчера под утро, когда по анонимной MMS-наводке Вельцев расстрелял предательницу, ее любовника и своего «работодателя» Митяя, обоих митяевских горилл, Репу и Джека, и расположившуюся позади их стола случайную парочку за ширмой. Недоброе Вельцев почуял еще осенью, вернувшись из командировки в Питер. Даша, прежде своенравная и вспыльчивая, вдруг смягчилась, стала покладистой и обходительной. Перемену в ее поведении можно было бы счесть добрым знаком, если бы одновременно это не был признак измены, уничтожившей то единственное, что привязывало

Вельцева к жене — *всеобновляющее и всепрощающее* свойство их близости. Удивительно, но до вчерашней катастрофы вину за то, что перестал воспринимать Дашу *своей* женщиной, он возлагал не на нее, а на себя, и даже малодушно помышлял о разводе. Вторые сутки, шедшие после бойни в клубе, он не мог избавиться от чувства, что стал дышать каким-то новым, пустым воздухом, который рвал его изнутри, точно выброшенную на берег глубоководную рыбину…

— Не прячься, я тебя вижу, — вздохнул он, потушив окурок на подоконнике. — Выходи.

Дверь кухни, до сих пор приоткрытая настолько, чтобы можно было подглядывать в щель, распахнулась, и Лана подошла к Вельцеву. Тюбетейки на ней уже не было, дурацкий грим оказался смыт без следа, в густой тени между свободно болтавшимися бортами развязанного халата белело не то облегающее белье, не то голое тело. Пропустив руку под халат, Вельцев почувствовал в ладони теплую, пошедшую мурашками от прикосновения кожу. Лана подалась к нему вплотную.

— Решила соблазнить меня? — спросил Вельцев.

— Я тебя обманула, — сказала она.

— В чем?

— Я… ну, в общем, не делала пластику.

— И что?

Ее живот напрягся под его пальцами.

— А ты не будешь смеяться?

Вельцев задумчиво прокашлянул.

— Постой… Ты, то есть, хочешь сказать, что все-таки — девственница?

Лана накрыла его руку своей ладонью.

— А ты хочешь это проверить?

Он не отзывался, но и не забирал руки. Лана, замерев, пристально посмотрела на него, как будто дожидаясь, когда он моргнет. Вельцев выдержал взгляд, но, стоило девушке дотронуться до его гульфика, перехватил ее запястье. Рука Ланы оказалась такой тонкой и слабой, что он решил, что сделал ей больно, однако она не думала не только обижаться, но и останавливаться. Так, одной рукой, она распустила ему ширинку, сдернула брюки на бедра, скатала трусы, взяла член и завороженно разглядывала его. Минуту, а то и больше они не двигались, застыли немой сценой — Лана изучала и ощупывала его быстро прибывавшее в размерах достоинство, а Вельцев, не соображая, продолжал держать ее за руку. Потом она забралась на кровать, встала на колени

так, что поджала его бедра с боков. Движения ее пальцев, до тех пор осторожные и даже пугливые, помалу становились резкими, увлекшись, она забавлялась с чувствительной плотью, точно с игрушкой, и не заметила даже, как прошлась по головке ногтем. Вельцев, ахнув от боли, крепко сдавил ее маленькую грудь. «Теперь ты…» — сказала она и отпустила его. Сжав одной рукой саднящее место, другой рукой Вельцев поласкал Лану — лишь бы отвлечь ее. «Не так», — выдохнула она с досадой, соскочила к серванту и стала копаться в нем. Воспользовавшись передышкой, Вельцев убрал пистолет из кобуры в карман пальто и выпростался из тяжелых рукавов. Лана вернулась с баночкой душистой цветочной мази и снова взгромоздилась на него. С хозяйским радушием, щедро, как бутерброд, она смазала член, завела его себе между ног и взглянула на Вельцева. Помешкав, он несильно надавил. Лана, поведя плечами, выскользнула из халата и отбросила его. Видя, что ей больно и страшно, Вельцев продолжал давить — но уже не подаваясь к ней, а наоборот, прижимая ее за бедра к себе — чутко, медленно и с таким чувством, что вот-вот должно произойти что-то ужасное. Но ничего ужасного не произошло. Лана не издала ни звука. Вельцев

и не сразу понял, что вошел в нее целиком. Лана аккуратно приподнялась, еще аккуратней присела, поворочала тазом, не то собираясь с духом, не то свыкаясь с болью, после чего возобновила осторожные вертикальные движения. Трижды, с каким-то конвульсивным содроганием, она замирала, Вельцев думал, что тем все и кончится, но каждый раз Лана принималась двигаться снова. Наконец она уперлась обеими руками в Вельцева, сгребла в кулаки кожу на его груди заодно с пуловером и, точно наверстывая упущенное, досаждая своим страхам, задвигалась — поначалу редко, но ускоряясь с каждым ударом — так сильно и размашисто, что в серванте зазвенело стекло и от ковра пахнуло пылью. Придерживая за талию, Вельцев тупо смотрел на ее коротко ходящую грудь, липнущие к ключице хвосты косичек и раскрасневшееся лицо. Подвешенный к люстре человечек неспешно поворачивался над ее головой. Задыхаясь, Лана то хватала Вельцева за плечи, то словно пыталась избавиться от него, уползти куда-то. К каждому ее выдоху, совпадавшему с тупым хлюпающим ударом ему в пах, уже примешивался стон, она чуть не срывалась в рыдания, и сам Вельцев вскоре почувствовал, что начинает задыхаться, что к животу его от

коленей как будто восходит знобящее пекло. Под ковром пела и трещала кроватная пружина, и этот металлический клекот отчего-то навеял ему мысль об угодившей под пули парочке в клубе. «Черт, черт, черт...» — стал приговаривать он в такт неистовым скачкам Ланы и, сколько мог, попробовал двигаться сам. Они разрешились почти одновременно — Вельцев с негромким стоном, сдавив что есть силы ее бедра, Лана — и вовсе бесшумно, мелко сотрясшись и рухнув на него ничком, как подкошенная.

Отдышавшись, он поцеловал ее в горячий висок, переложил ближе к изголовью, подхватил смятое пальто и заперся в ванной. Его натертый контуженый пах был обильно запачкан кровью и притом источал ошеломляющий аромат цветущей клумбы. Зеркало, стоило Вельцеву податься к нему, затуманилось. Он ткнулся в мутное стекло лбом. Где-то за стеной, отдавая в пол, тарахтела водопроводная труба. В стаканчике на подзеркальной полке стояла детская зубная щетка. Вельцев взглянул на часы, однако перестал их видеть еще прежде, чем сообразил, который был час: циферблат, как и раскрытый бумажник давеча, поманил его напоминанием о чем-то важном и забытом. Он с нажимом провел

себя по макушке, посмотрел вверх и по сторонам, но ничего не вспомнил. Думая, что еще можно найти подсказку, он порылся в карманах пальто, взял пистолет, сбросил в руку магазин и вставил его обратно в рукоять. Что после вчерашнего оставалось всего три патрона, он знал и без того. «Пах-пах», — сказал он своему проявившемуся отражению, пристроил «беретту» на змеевике так, чтобы до нее можно было без труда дотянуться из ванны, разделся и полез под душ.

«А может, Лана?» — осенило его, когда он намыливался в паху.

Встав неподвижно, он опять взглянул в потолок, пожал плечами и продолжил намыливаться. Была ли Лана *его* женщиной, он, конечно, еще не мог сказать. Равно как и то, была ли она девственницей. Зато, едва только смыв ее кровь, он понял то, чего не мог выразить для себя раньше: в своих амурных предпочтениях он руководился не столько очевидными плюсами юности партнерш — которые, если не годились ему в дочери, все равно были намного младше его, — сколько тем, что молодость *его* женщин давала ему, бездетному по долгу «службы», иллюзию полноценной семьи. *Его* женщины были и детьми его. Не смея обзаводиться потомством на деле, он обзаводился

им в воображении, придавая телесной близости свойства как зачатия, так и рождения. *Своя* женщина, таким образом, была для него чем-то вроде усовершенствованной Евы — не просто обитательницей, но охранительницей рая, державшей в одной руке запретный плод, а в другой — за горло — змея-искусителя.

Вельцев убрал голову из-под шипучей душевой струи и прислушался — откуда-то из-за стен доносилось громыханье, то затихавшее, то нараставшее. Громыханье это он слышал уже некоторое время и не придавал ему значения, думая, что так тарахтит труба, но, выключив сейчас воду, понял, что грохот доносится из квартиры, и это не шум водопровода, а шум драки — глухие удары и шарканье сдабривались жалобными криками Ланы и придыхающим от ярости мужским голосом. Пока Вельцев вытирался и натягивал одежду, смысл потасовки в общих чертах стал ясен ему. Мужчина, говоривший с сильным азиатским акцентом, требовал от Ланы сведений о Шарафе (надо полагать, об улыбчивом типе с фотографии) и о каком-то долге в триста тысяч. «Если его не найдут, он — *кирайний!* — хрипло орал мужчина. — Он — *туруп!* Понимаешь, дура? *Туруп!..* А этот, в ванне — если он знает? Спроси тогда».

«Придурок! — отвечала, всхлипывая, Лана. — Это постоялец, я же говорила…» Одевшись, Вельцев пристегнул к «беретте» глушитель, дослал патрон в патронник, аккуратно, придерживая большим пальцем, спустил курок, сунул пистолет в кобуру и с громким ударом двери вышел из ванной.

Лана, кутаясь в халат, сидела на кровати и зажимала в щепоти разбитый нос. Кровью у нее было испачкано не только лицо, но руки выше запястий и шея. На щеке горел след затрещины. Против нее, уперев руки в бока и расставив ноги, стоял ее обидчик — рослый, атлетического сложения узбек в обсыпанной талым снегом дубленке и калмыцком малахае с опущенными наушниками. Рот незваного гостя, наискось от носа до подбородка, пересекал небольшой шрам, из кулака свешивались четки, а из-за отороченного мехом голенища правого сапога торчал краешек резной рукояти ножа — что это убойное, испытанное орудие, Вельцев понял даже не по тому, как выдавалось над ним голенище, а по тому, как горели глаза самого *испытателя.* «Рыбак рыбака… — мельком, но так же уверенно подумал он. — Какого черта было впускать такого?»

— Ты кто? — выдохнул узбек, глядя на Вельцева и медленно, как для броска, поворачиваясь

к нему.

Вельцев посмотрел на замершую Лану.

— Сходи умойся, пожалуйста, — сказал он ей.

Она молча встала и, обдав его запахом цветочного крема, прошла в ванную. В двери щелкнул шпингалет. Вельцев достал из серванта вложенную между стеклами фотографию и протянул ее узбеку:

— Я тут тоже из-за него.

— Что? — Узбек взял карточку и непонимающе, как в пустую бумажку, вытаращился на нее. — Из-за чего?

— Я знаю, где деньги, — пояснил Вельцев. — Ты ведь за деньгами пришел? Я тоже. Пойдем.

Узбек бросил фотографию ему под ноги и взмахнул четками.

— Куда?

Попятившись, Вельцев выглянул в прихожую — в замочной скважине торчал ключ с обмотанной изолентой ручкой.

— За деньгами, я же говорю. Тут недалеко…

Вокруг подъезда простиралась призрачная, подкрашенная светом окон целина. Валил густой, крупный снег. Деревья, машины, гаражи — всё, за исключением перегородившего подъездную аллею «Лендкрузера», заросло белым. Свежая

снежная гуща трещала под ногами. Вельцев закурил, оглянулся на ходу и кивнул топтавшемуся в тамбуре узбеку.

Пройдя ущельем между заборами кладбища и бизнес-центра, они спустились к Яузе. Неширокое, метров десяти, русло казалось еще *у*же из-за намерзшего по берегам льда. Вельцев потрогал носком ботинка неспелую корку и, будто искал что-то, сделал несколько шагов вверх и вниз по течению. Узбек, не говоря ни слова, светил ему карманным фонарем.

— Тут, — сказал наконец Вельцев, ткнув наугад пальцем в черную воду. — Только надо чем-то поддеть.

Узбек тоже подступил к воде и настороженно всмотрелся в нее. Фонарик он держал в левой руке, из сложенной пригоршней правой пятерни у него высовывался конец рукояти ножа.

— Надо чем-то поддеть, — повторил Вельцев, отошел к прибрежным зарослям и, вытянув из кобуры пистолет, бегло осмотрелся.

Неподалеку на реке, за излукой, слышалось многоголосое утиное кряканье, во дворах на том берегу стрекотали и лопались фейерверки.

В густо замешенном снегом воздухе выстрел лязгнул негромко, словно увяз в нем. Пуля попала

узбеку в самое основание назатыльника, выбив из шапки облачко не то пара, не то пыли. Узбек выронил фонарик, рухнул на колени и, крупно вздрогнув в плечах, упал лицом в воду. Пошарив в карманах убитого, Вельцев взял брелок с автомобильным ключом и в несколько присестов, ногами, затолкал тело подальше в полынью, где течение вскоре должно было подхватить его. Наушники еще дымившегося после выстрела малахая расплылись в воде. В крохотном зареве от лежавшего на дне фонарика плясала раздвоенная облачная лента крови.

Снегопад разошелся настолько, что на обратной дороге Вельцев не нашел своих следов. Зато на водительской двери стоявшего среди дороги джипа появился след от руки: «Мудак». Вельцев наскоро обыскал пропахший анашой и овчиной салон, отогнал машину к въезду на кладбище и бросил на обочине против ворот. По пути дважды звонила автомобильная сотка, и оба раза он едва сдерживал себя, чтобы не ответить какой-нибудь погребальной остротой — вид за окном располагал к тому.

Когда Лана узнала, что произошло, она обхватила руками голову, села с ногами в кресло и сказала:

— Все. Я тоже труп.

— С чего это? — удивился Вельцев.

— Он по телефону договаривался со своими… ну — с кодлой своей встретиться тут, у подъезда.

— Договаривался — на когда?

Лана посмотрела на часы с кукушкой.

— На полдвенадцатого. То есть через час уже. — Продолжая держаться за голову, она обернулась к Вельцеву: — Послушай, ты ведь мог у меня спросить, в чем дело? Перед тем, как…

— У тебя есть триста тысяч, о которых он говорил? — оборвал ее Вельцев.

— Откуда? — вскинула брови Лана. — Пятьсот рублей вон до среды.

— А этот, *Шарфик* твой — знаешь, где он?

— Я тебе сказала, где.

Вельцев поддернул рукав на запястье с часами.

— В таком случае, успокойся. К тебе сегодня приходили не за деньгами.

Лана опустила руки.

— А зачем?

— За тобой.

— Зачем?

— Это был мясник. Тебе есть куда поехать?

— Нет.

— На первое время я могу устроить тебя в го-

стиницу.

— Не получится.

— Почему?

— Я без паспорта.

— Почему?

— У бабы Агафьи он.

— И что?

— Не отдаст она.

Вельцев вытер мокрое от снега лицо.

— Черт. Я не могу оставаться тут долго.

Лана шмыгнула распухшим носом.

— А я тебя и не держу.

Он с усмешкой, оценивающе присмотрелся к ней.

— Звезда героя тебе за это не светит.

Обхватив колени, Лана слепо смотрела перед собой и перебирала пальцами составленных ног.

— И ладно. У нас тут героев со звездами — целое кладбище вон.

Вельцев вытащил из пистолета в кобуре магазин, поднес его, как градусник, пустыми окнами шкалы к глазам и затолкал обратно.

— В последний раз спрашиваю: пойдешь со мной?

Она не ответила и, казалось, вовсе перестала слышать его. Вельцев взял с полки в прихожей

свою мокрую шапку, положил вместо нее три тысячерублевые купюры, еще раз взглянул на Лану и толкнул кулаком дверь.

Снегопад несколько утих, однако поднималась метель. Если во дворах ветер трепал лишь верхушки деревьев, то, стоило Вельцеву выйти на открытое место, как у него перехватило дух. Он возвращался к метро, в сторону улицы Менжинского, тем же маршрутом, что шел сюда и час, и десять минут назад — обочиной проезда между рекой и кладбищем. «Упертая дура», — цедил он сквозь зубы, щурясь под секущим снегом. Злился при этом он не так на Лану, как на себя, вообразившего о ней бог знает что. Ждать, пока заявятся подельщики узбека, было верным самоубийством, а где сейчас разжиться патронами, Вельцев не представлял: доступ к домашнему арсеналу он вчера перекрыл себе сам, выходить на прежних поставщиков было и рискованно, и хлопотно. Оставался еще, правда, другой митяевский стрелок, Кирила-Калмык, которого в позапрошлом году он отбил от банды скинхедов и с тех пор был для него чуть ли не вторым отцом. Но, во-первых, после вчерашнего, когда Кирила остался не у дел, могли измениться и его сыновние чувства, во-вторых, связаться сейчас

с ним составляло чисто техническую проблему: сим-карту из своего телефона Вельцев разломал и выбросил вчера по выходе из клуба, а звонок из квартиры Ланы мог быть легко отслежен… Сделав несколько неуверенных шагов, Вельцев встал и обмахнул снег с ресниц — мысль о телефоне в «Лендкрузере» узбека поспела за мгновение до того, как он увидел джип перед собой воочию, в том самом месте, где бросил его.

Кирила-Калмык отозвался сразу, как установилось соединение:

— Да, блядь.

— Номер определился? — сказал Вельцев вместо приветствия.

— …Да, — ответил Кирила удивленно.

— Перезвони с городского. Только не из дома, или где ты там. — Вельцев отключил связь, запустил двигатель и, подбив пальцем зеркало заднего вида, внимательно посмотрел на себя. — Псих ненормальный.

В углу зеркала пузырился прозрачный стикер с арабской вязью. Вельцев хотел сковырнуть наклейку, как раздался звонок. Он взял трубку:

— Алло.

В динамике пульсировала чуткая тишина эфира. Вельцев вызвал на дисплей номер входящего

вызова — звонили с мобильного. То есть, скорее всего, узбеку.

— Ад на проводе, — сказал Вельцев, подождал еще немного, дал отбой и снова заглянул в зеркало. — Уже тепло.

Когда перезвонил Кирила, его голос срывался от волнения:

— У нас тут все на ушах стоят. Ты что? Комитет и братву, и ментов лопатит. Ты ж знаешь, под кем Митяй ходил. Наводка на тебя уже три лимона весит. Ты что?

— И ты уже знаешь, как их потратить? — поинтересовался Вельцев.

Кирила, громко сопя, промолчал.

— Прости, — вздохнул Вельцев. — Тут… такое дело. Мне бы пару обойм для «тальянки» — позарез. Сорок минут — край. Не подкинешь?

— Куда?

— На Бабушкинскую. Тут, как свернешь с Менжинского на Олонецкий, бизнес-центр небольшой. Сразу за кладбищем. Успеешь?

— Попробую.

Вельцев кинул трубку на сиденье, покрутил из стороны в сторону руль и, не включая передачи, несколько раз надавил на педаль акселератора так резко и глубоко, что тяжелый автомобиль

закачался.

Через полчаса облепленный снегом от порогов по крышу «Кайенн» Кирилы зарулил на пустовавшую парковку перед забором бизнес-центра. Вельцев, оставив «Лендкрузер» на заднем дворе двенадцатиэтажки, ждал за деревьями между дорогой и рекой. Убедившись, что Кирила приехал один и не привез за собой «хвоста», он сел к нему. В жарко натопленном салоне разило перегаром.

— Батя (Калмык величал его батей, хотя был моложе всего на десять лет), уважаю! — Кирила расплылся в улыбке, подавая Вельцеву правую руку для пожатия, а в левой протягивая три полных магазина.

Вельцев пожал каменную борцовскую пятерню, взял магазины и перезарядил пистолет.

— За что уважаешь-то, Кила-Кирила?

— Ну, вообще. — Калмык встряхнул плечами. — Если бы Митяй со мной так, со Светкой моей… Не знаю. Духу бы точно не хватило. Разве что под газом.

Вельцев убрал пистолет в кобуру, растолкал запасные магазины по карманам, оправился и посмотрел на Кирилу. Они встретились глазами.

— Ну, как там — за тремя лимонами охотников много?

— Не знаю, — моментально посерьезнел Кирила. — Сегодня не видел еще никого. Злые все, конечно, как черти — на тебя, на Митяя. Комитет-то за него на измену родине заряжает. Сам понимаешь.

— Я, Кила, понимаю одно: комитет, видать, и слил мне Митяя. Такое кино больше не выгодно никому. Да и не по силам тоже. Фейс-контроль в клубе я прошел, как… В общем, напортачил Митяй перед шефами. Ну, или в тираж вышел, по выслуге. — Вельцев глянул на часы и отпер дверь. — Ладно. Пора мне.

— Слушай! — Калмык щелкнул его пальцем по плечу. — А может, подсобить надо как? Так давай.

— Нет, Кила. — Вельцев спрыгнул в снег. — Ты и так уже помог. — Захлопнув дверь, он направился в проулок за парковкой. — Бывай.

— Ну, я все равно тут с пяток минут еще покантуюсь! — крикнул Кирила, приспустив оконное стекло.

Вельцев молча отмахнулся.

Метель разыгралась. В проулке вихрился снег, и ветер временами задувал так сильно, что гремело в ушах. За несколько метров до угла между торцевым и главным фасадом двенадцатиэтажки

Вельцеву послышались надрывные бабьи крики из двора. В заснеженных пылящих кронах мерно полыхал голубой отсвет проблескового маячка. Взяв на изготовку пистолет, Вельцев выглянул из-за стены.

На подъездной аллейке, там, где еще недавно стоял «Лендкрузер» узбека, подплывал парами холостого выхлопа пустой митяевский «Гелендваген». На крыше броневика торчала включенная «мигалка». Против машины, на узком пятачке между аллеей и тамбуром погорелого подъезда, баба Агафья отбивалась от наседавшего на нее Костика, шефа охраны Митяя. «Не пущу! Ни хрена тада не пущу! Пшел! Пшел!» — хрипела как на последнем издыхании баба Агафья и пыталась ударить Костика, выбрасывая перед собой руки на манер пловчихи. За спиной у Костика топтался Мишаня-Рязанец. Еще дальше, на аллейке, потирая запястьем обмерзавшие усы, прохаживался неизвестный молодчик в кашемировом пальто и высокой меховой шапке. В одной руке у молодчика дымилась сигарета, в другой потрескивала рация.

Вельцев попятился обратно за угол и приник спиной к стене.

— Ну, спасибо, Кила-Кирила…

Нужно было что-то решать, однако, еще прежде чем успел подумать о чем-то, он увидел вышедшего из-за противоположного угла дома, со стороны заднего двора, Диму-Дубля — брата-близнеца Джека, погибшего вчера с Митяем. Чертыхаясь, Дима застегивал на ходу ширинку и притопывал от холода. Из кармана его спортивной куртки торчала антенна рации, ноги по колени были испачканы снегом. Вельцев пустился ему навстречу с пистолетом в выставленной руке, так что когда Дима покончил с ширинкой и посмотрел перед собой, то едва не ткнулся лбом в глушитель «беретты».

— Назад, — скомандовал Вельцев, наступая. — Тихо.

Оторопевший Дима стал покорно пятиться. За углом, в палисаднике, Вельцев заставил его опуститься на колени в снег и поглядел на вереницу следов под стеной:

— Подсматриваешь в окна, бандит?

Дима неопределенно пошевелил поднятыми руками. В щель между бортов его расстегнутой по грудь куртки выпирал болоньевый чехол бронежилета.

— Возьми радио, — сказал Вельцев.

Запутавшись в кармане, Дима достал и протя-

нул ему рацию.

— Спокойно, — продолжал Вельцев, — только спокойно — скажи, что видишь меня и можешь снять через стекло. Повтори.

— Вижу те… его через стекло, могу снять.

— Давай.

Дима повторил фразу по рации, и, как только раздалось в ответ: «Атанда, катим…», — Вельцев выстрелил ему в переносицу. Вздрогнув, точно при сильном ознобе, Дима рухнул на бок и вытянул ноги. Снег под его головой стал быстро проседать и темнеть. Засмотревшись на кровь, Вельцев вспомнил, что так же, в голову, застрелил вчера Джека, и, сплюнув, перекрестил захолонувшую грудь: Джек-Дубль, которого от брата можно было отличить разве что по родинке над бровью, лежал перед ним. Митяя вчера оборонял Дима. «Дернется — мочи, не жди», — проворковала упавшая динамиком в снег рация. Вельцев поднял ее, хотел что-то ответить, но, отключив, бросил обратно. Разминая закоченевшие пальцы, он выглянул из-за угла.

Первым на тропке у торцевой стены появился Костик, следом, возясь с пистолетом, выскочил Мишаня, тип в кашемировом пальто трусил последним, сильно отстав. «Пах-пах-пах», — про-

шептал Вельцев…

Они попадали один за другим, молчком, запросто, все трое — будто поставленные в ряд кости домино. Костик с Мишаней погибли, видимо, еще до того, как оказались на земле — первому пуля угодила в глаз, второму размозжила нос, — но молодчик в пальто, после того как завалился навзничь, неожиданно ответил огнем. Споткнувшись, Вельцев отступил обратно за угол. Он взялся считать выстрелы, но сразу понял, что это невозможно: скорее всего, стрельба велась не из обычного заглушенного ствола, а из оружия с бесшумными патронами, отчего были различимы лишь те выстрелы, после которых пули рикошетили от стены. Так или иначе, медлить было нельзя — в любую секунду молодчик мог вызвать подкрепление по рации. Вельцев передохнул, вышел снова из укрытия и, двинувшись вдоль стены, стал на ходу стрелять в дергавшегося на спине усача — давил на спусковой крючок до тех пор, пока не растратил остаток магазина, все одиннадцать патронов.

С дымящимся, как кастрюля, совершенно развороченным лицом молодчик, тем не менее, продолжал сжимать вставший на затворную защелку пистолет и, упираясь локтем в землю,

выцеливал кого-то перед собой вверху. Когда рука его безвольно легла, Вельцев аккуратно, двумя пальцами, поднял пистолет за края затвора. Это оказался бесшумный шестизарядный «Вул» — специзделие для таких же специальных агентов. До сих пор он видел его только на картинках. На черном рынке ни сам пистолет, ни боеприпасы к нему было нельзя достать ни за какие деньги. Сейчас, после стрельбы, открытый патронник даже не пах порохом. Впрочем, разглядывая свой трофей, Вельцев думал уже не столько про его уникальные свойства, сколько про то, что отпадала нужда лезть за документами покойника, дабы удостовериться в очевидном: только что отдал богу душу агент спецслужбы, какой именно — ГРУ или ФСБ — не суть важно.

Оттащив тела за угол и сложив их рядом с Джеком-Дублем, он загнал туда же, на задний двор, «Гелендваген» и поставил его рядом с «Лендкрузером». Метель не унималась. Минуту-другую Вельцев грелся за рулем — несмотря на то, что порядком взмок, пока возился с трупами, он продрог до костей. «Мы едем, едем, едем…» — приговаривал он, держа ладони над гудящими вентиляционными решетками. Перед его глазами стоял разряженный пистолет молодчика.

Банда узбека заявилась к подъезду Ланы как по часам, ровно в полдвенадцатого. Из джипа, который отличался от стоявшего за домом «Ленд-крузера» разве что номерным знаком, вышли трое. Вельцев ждал, что они зайдут в подъезд, но троица, посовещавшись на пороге тамбура, вернулась в машину. Вельцев сморгнул выступившие на морозе слезы: сзади «Лендкрузера» раздавалось слабое багровое зарево — скорее всего, от подфарников, но настолько обширное, что подсвечивало и всю простиравшуюся за автомобилем часть двенадцатиэтажки, и здания в глубине двора, метров за полтораста.

Когда ему стало ясно, что проторенной «Гелендвагеном» колеей джип направляется в объезд дома, «Лендкрузер», качаясь на ухабах, уже въезжал на задний двор. Вельцев взял из кобуры пистолет:

— Мы едем, едем, едем…

Спешившись возле брошенных машин, троица гуськом, по порядку обошла их, затем — очевидно, по следу Вельцева — подступила к сваленным в палисаднике трупам. Вельцев, у которого от холода уже зуб на зуб не попадал, уперся плечом в край торцевой стены. Кругом кипела вьюга, но в палисаднике установилась такая тишина,

что когда в сугробе позади него заголосила рация усача: «Пятый, куда пропал? Прием...» — он едва не спустил курок. Троица вразнобой, будто нехотя обернулась на звук. Увидев отсутствующие, одушевленные смертью молодые лица, он спокойно и методично, как фигурные мишени в тире, расстрелял их — при этом лишь стоявший крайним справа боец успел вскинуть руку, прежде чем повалился на припорошенные тела. «Пятый, заснул?» — опять послышалось со спины. Наклонясь, Вельцев оперся на прямые ноги. Его колотил озноб. «На сегодня, пожалуй, хватит», — пробормотал он, глядя в палисадник. Машина троицы стояла с включенным двигателем и горевшими габаритами, и ему вновь, как у подъезда, померещилось за джипом красноватое зарево, только теперь имевшее источником не свет подфарников, а что-то за кладбищенским забором — деревья и летящий снег подкрашивались туманным багрянцем лишь по ту сторону ограды. Озадаченный, он подошел к «Лендкрузеру», открыл дверь и заглянул внутрь, — ничего особенного. Тот же, что и в машине узбека, дух овчины пополам с анашой. Наклейка с арабской вязью на зеркале заднего вида. Телефон. Прижженное сигаретой водительское сиденье.

Вельцев хотел захлопнуть дверь, но замер, заметив рядом с оплавленной ямкой на сиденье свежий след кровяной капли. Попятившись, он посмотрел под ноги, и увидел, как что-то крохотное сорвалось в снег с глушителя «беретты». Он приподнял оружие перед собой — левый бок пистолета, а заодно и концы пальцев правой руки оказались густо изваляны в крови. Заиндевелые маслянистые следы запеклись поперек нижнего борта пальто. В верхнем борту, у нижней пуговичной петли, зияла небольшая, с горошину, дыра. Вельцев распахнул пальто. Шелковая подкладка с левой стороны, часть пуловера под грудью, прилегавший к кофте край кобуры и штанина до колена — все было мокрым и курилось от крови. Пробив брючный ремень, пуля вошла в живот над тазовой костью, немного ниже и левее пупа, и, судя по тому, что поясница оставалась сухой, застряла в брюшной полости. «Вул», — шепнул Вельцев и запахнулся. — Черт… Только — спокойно…

Стерильными салфетками из автомобильной аптечки он кое-как заткнул рану, но обрабатывать ее ни йодом, ни зелёнкой не стал, боясь потерять сознание от боли. Разжевав несколько таблеток анальгина, он прикинул в уме, сколько

времени прошло после того, как схлопотал пулю, хотя было и так ясно: шок ему обеспечен, на обычном обезболивающем он долго не протянет.

Подумав, он набрал мобильный номер Калмыка.

— Алло! — проорал Кирила, перекричав гремевшую музыку.

— Ты где? — спросил Вельцев.

Музыка оборвалась.

— Тут пока, — опешил Кирила. — А что?

— У тебя промедол с собой?

— Как всегда. А что?

— Жди. Я сейчас…

«Если не дурак, — думал Вельцев, пробираясь по глубокому снегу в проулок, — то уедешь. Ну, или стрельнёшь первым. Если дурак… Впрочем, чужая душа — потемки. Каждый спасается по-своему».

«Кайенн» стоял на прежнем месте у забора бизнес-центра. Прижимая пистолетом тампон в ране, Вельцев забрался на заднее место справа. Кирила вполоборота, молча уставился на его окровавленную одежду. Вельцев протянул между кресел руку. Кирила, спохватившись, раскрыл перед ним армейскую аптечку. Свернув зубами колпачок со шприца, Вельцев воткнул иглу в бед-

ро через брюки, медленно сдавил стенки тюбика и выплюнул колпачок на пол.

— Где тебя так? — спросил Кирила.

Вельцев, отдуваясь, отложил пустой шприц.

— Ничего. До свадьбы заживет.

— По тебе же *мясницкая* плачет. — Привстав, Кирила подобрал шприц и положил его обратно в аптечку. Между разошедшимися бортами пиджака мелькнула фигурная вальтеровская рукоять. — Слушай, поехали, а?

— Не сейчас, — покачал головой Вельцев. — Надо еще кое-что… Ты вроде как хотел подсобить.

— Да. — оправился Кирила, — конечно. Что?

— На Яузе тут я стрельнул одного. Надо прибраться. Поможешь?

— Едем, батя. Сразу бы так.

— Ну, с богом, — кивнул Вельцев. — Здесь рядом.

— С богом, — отозвался шепотом Кирила, ворочая рулем…

Тело узбека снесло течением совсем недалеко, метра на два, к излучине, где, по-видимому, зацепило подводной корягой.

Посвистывая, Калмык встал на берегу и озадаченно потрогал носками ботинок лед. Вельцев придавил тампон левой рукой поверх пальто и

осторожно высвободил пистолет.

— Надо бы, — не оборачиваясь, сказал Кирила, — поддеть его чем-то.

— Не надо, — ответил Вельцев и дважды выстрелил.

Пули с утробным звуком ударили Калмыка под одну и под другую лопатку. Зябко пожав покатыми медвежьими плечами и переступив с ноги на ногу, Кирила спокойно оглянулся на Вельцева, неторопливо присел, протянул руку в полынью и затем так же размеренно, будто в постель, лег в нее с головой. Вода при этом даже не плеснула.

— Плакала м*ясницкая,* — сказал Вельцев, тяжело дыша, и сплюнул, — плакали три миллиона.

Сев за руль «Кайенна», он сменил размякшие салфетки в паху, отер пальцы и, глядя на лежавший между сиденьями грязный пистолет, думал и вспоминал, к кому можно обратиться за помощью. Все прежние, рабочие варианты, связанные с Митяем, отпадали, кроме них оставались только два: «Склиф» и вытуренный из «Склифа» за наркоту, живший где-то на Трубной однокурсник Оксаны. «Попробуем, для начала, с конца, — решил Вельцев и запустил двигатель, — с Трубной».

На заледенелой под снегом дороге мощный

джип шатало от обочины к обочине, а перед самым выездом на Менжинского занесло так, что, развернувшись, он встал на встречной полосе. Вельцев поднял над рулем растопыренную пятерню. Его била крупная дрожь. Живот и левое бедро онемели, в то же время от паха к груди восходил густой жар, от которого мутилось в голове. Вельцев пристукнул ногтем по спортивной баранке: «Ладно. Поправка…»

Добравшись черепашьим ходом до двенадцатиэтажки, он перепутал в последний момент педали газа и тормоза, и врезался в «Гелендваген».

— Черт…

На полдороге между палисадником и сгрудившимися машинами, в конце подкровавленной борозды, лежал лицом вниз один из бойцов троицы. Вельцеву пришлось переступить через него.

Проходя мимо палисадника, он спугнул какого-то зверька, а у подъездного тамбура столкнулся нос к носу с Ланой. Ахнув, девушка отступила со вскинутой, как оружие, ключом-рукоятью. Вельцев протянул к ней открытую трясущуюся ладонь:

— Это я…

В квартире она бережно усадила его на кровать, присела рядом на корточки, заглянула ему под

пальто, ткнулась в рукав своей дубленки и горько расплакалась:

— Господи, я… ты меня так…

— В последний раз спрашиваю, — сказал, вымученно улыбаясь, Вельцев, — пойдешь со мной? — Он выпростал из-под полы пистолет и отложил его на ковер. — Вернее, поедешь?

Лана взглянула на него исподлобья:

— Куда? На чем?

— К доктору Айболиту. Машину ведь водишь?

— Слушай… — Сглотнув слезы, она подхватила его под колени и несильно встряхнула. — Тут, в соседнем дворе, фельдшер живет. Он племяннице бабы Агафьи аборт на дому делал. Может, к нему?

— Ты серьезно? — нахмурился Вельцев.

— Постой… — Легко вскочив на ноги, Лана поцеловала его в губы и зашла в кухню, откуда тотчас послышалось щелканье телефонных клавиш.

Вельцев взял зажигалку и впустую щелкал кремнем.

Лана с грохотом бросила трубку и, вернувшись, снова подсела к нему:

— Не отвечает. — Она озадаченно, с натугой подула в приставленный ко рту кулак. — Давай тогда сделаем так: я сбегаю к нему и, если он дома,

обо всем договорюсь. Если нет — едем к твоему Айболиту. Две минуты потерпишь?

Вельцев продолжал щелкать кремнем и молча смотрел на нее. Он слышал, но не слушал ее, прислушиваясь к себе, к ощущению, которое почему-то мыслил как воспоминание: сейчас ему было приятно находиться рядом с ней, как, наверное, ни с кем из прежних *его* женщин. Это казалось странно и в то же время просто — как клубничный вкус ее помады. Она еще что-то говорила, затем опять поцеловала его, погасила свет и побежала в прихожую.

— Ты… куда? — спросил он через силу.

Лана, обернувшись, крутанула в кулаке ключ-ручку.

— Я же сказала.

— Погоди, — Вельцев собрался встать, — я запрусь.

— Ага, — хмыкнула она, открыв дверь. — А если отключишься — спасателей вызывать? или сразу труповозку? Жди. — Дверь захлопнулась за ней, задвижка дважды стукнула в пазу.

Вельцев, помешкав, закурил, подтянулся на локтях, сунул под голову валик и лег на кровать с ногами. Подвешенный к люстре человечек мерно покачивался в дымных струях…

Задремав, он пришел в себя от собственного кашля.

На потолке плясала паутина. Дым горелой шерсти ел глаза и резал в горле. Выпавшая из пальцев сигарета запалила ворс ковра. Растерев тлеющие волокна рукавом, Вельцев поглядел на часы и недоуменно встряхнул запястьем: он спал больше четверти часа. Тампон отстал от раны, так что кровью напитался не только пуловер под спиной, но и ковер под завернувшимся пальто.

Вельцев осторожно встал с кровати.

— Лана, — позвал он.

Ответом ему была звенящая, какая-то неровная, шероховатая тишина. Думая, что у него заложило уши, он открыл и закрыл рот. Пол крупно и мерно, как в качку, подымался и проваливался под ногами.

Опираясь рукой на стену, Вельцев вышел в прихожую. Входная дверь была по-прежнему заперта. Он посмотрел в глазок, подергал скобу, опять открыл и закрыл рот, и прислушался: где-то далеко, почти на пределе слуха, в этой шероховатой тишине захлебывалась сирена то ли «Скорой помощи», то ли милиции. Неожиданно в кухне раздался телефонный звонок. Вельцев оттолкнулся от двери, но замер на полушаге — второго

звонка не последовало, шероховатая тишина поглотила и его.

Он возвратился в комнату и хотел лечь, как снова заголосил телефон и снова оборвался на первом звонке. Пачкая кровью обои, Вельцев пошел в кухню. Ниже груди и выше колен он почти не чувствовал себя, ему мерещилось, что ноги движутся отдельно от тела — то отстают, то торопятся, и оттого так непросто держать равновесие. Свет в кухне был погашен, комнатка озарялась цветными сполохами гирлянды, проложенной вдоль оконной рамы с внутренней стороны. На старом телефонном аппарате, под номеронабирателем, горела желтая лампочка.

Сев к столу, Вельцев взял трубку, приложил ее к правому уху и поджал плечом. Его левая рука, потянувшаяся к клавишам, легла на стол — в трубке раздавались суетливые, перебивавшие друг друга голоса Ланы и бабы Агафьи. Телефон был подключен к линии параллельно с другим аппаратом, которым, судя по отменной чистоте и громкости звука, пользовалась баба Агафья. Голос Ланы, разбавленный слабым эфирным шумом, слышался тише, будто издалека.

— ...я, как увидела его, чуть не уссалась со страху, — тараторила Лана, задыхаясь и, видимо,

боясь, что ее прервут. — Думала: все, шлепнет. Пукнул Пхукет мой.

— …ну, а так вот с карточкой-то, — в тон ей и почти не слушая ее, говорила баба Агафья, — она из пачпорта у него выпала, а он и не заметил. Я, как вас запёрла, ее в снегу нашла, а дома ахнула: зачем, думаю, с пропиской городской в гостинице селиться, да потом, коли гостиница оплачена, в нашу Тмутаракань лезть? Ну и, не будь дура, пошла телевизором щелкать. А там — матушки-сватушки! — и фотография, и фамилия, и приметы. Номер, куда звонить. — Бабья Агафья громко, с грудным придыхом, чихнула. — Я аж обмёрла.

— А Фаридка когда подвалил… — прыснула от смеха Лана, — после звонка тебе я сразу ему звякнула, смекнула про долг *Шарфиков… этот-то* как раз в ванной был… ну, и Фаридке-придурку даю знать… — Она ёрнически зашептала: — У *этого* с *Шарфиком* на полдвенадцатого стрелка…

— Могла б и на пораньше, дура, — сказала с укоризной баба Агафья. — Они с центровыми чуток под окнами не поцеловались. Мозги есть?

— Ну, ты бы тоже тогда не гнала коней, — огрызнулась Лана.

— Да кто ж знал, что они так быстро заявятся,

в пургу-то?

— Вот и не гнала бы. Этот-то все равно бы никуда не делся.

— Откуда тебе знать?

— Оттуда: запал он на меня. Не знаю, почему. Но я эти кобелиные выкидоны всегда чувствую. А скорей всего — чего мудрить — на *прошивку* очередную мою. Я сама в этот раз такого не ожидала — кровищи было… — Лана помолчала. — Да, а что ты этим сказала, которые на «мерсе» подваливали?

— Ну, так это, — шмыгнула носом баба Агафья, — они не то что без трех мильонов — вообще без копейки были. Я сказала, не пущу. Через мой труп. Ну, смотрю, поняли: не на ту нарвались. Сходили куда-то, пошушукались там, потом, видать, уехали. И вот, перед тобой, звонили опять. Сказали, чтобы ждала — сейчас будут. С деньгами. А твои?

— Кто — мои? — не поняла Лана.

— Ну, душманы Фаридкины.

— Так я чего звоню: порешил этот их, кажись, подчистую. Прикинь?

— Откуда знаешь?

— Сотка ни у одного не отвечает.

— Короче, свободны вы теперь. Да с денежками.

И от меня, и от Фаридки ушли… — Баба Агафья довольно заквохтала. — Куда намылились-то?

— Я ж говорю, в Тайланд. Завтра путевки горящие в одной конторе сливают. Думаю, успеем… Эй, *туруп*, — сказала Лана куда-то в сторону, — успеем? — В ответ ей прозвучал невнятный и улыбчивый мужской голос. — *Туруп* говорит, успеем.

— Ну, ладно, — вздохнула баба Агафья. — Заговорилась я с тобой. Может, *эти* еще позвонят, а телефон занят. Ты *этого* точно хорошо запёрла-то?

— А что, от соседнего подъезда дойти глянуть — ломает уже?

— Да боюсь я его, душегуба. Взгляд у него… до затылка дерет.

— Не бойся, — усмехнулась Лана. — У него у самого душа на ниточке болтается. Если есть, конечно.

— Слушай, — перешла вдруг на шепот баба Агафья, — а что, вот он нынче на параллельном-то слушает? Свят-свят, я и не подумала-то.

— Вряд ли, — хмыкнула Лана. — Не до того ему сейчас. На *станке,* скорей всего, доходит. А даже если и слушает… *Алло,* — сказала она измененным, низким голосом. — *Ад на проводе. Ваш*

номер определился. Бог позвонит вам, когда…

— Типун тебе на язык, дура! — хрипло гаркнула баба Агафья и плюнула. — Бога, бесстыжая, побойся-то! — Раздался дробный клацающий удар, после чего в эфире заскакали короткие гудки. Желтая лампочка под номеронабирателем погасла.

Вельцев, словно рассчитывал услышать что-то еще, недолго прижимался ухом к трубке, затем, сев прямо, аккуратно подхватил ее и опустил на рычаг. Красные сполохи иллюминации толклись на светлой столешнице, напоминавшей в эту минуту безлюдный каток.

Гремя стулом, который двигал перед собой на манер ходунков, он вернулся в комнату, влез на еще дымящуюся кровать, взял из кармана паспорт, пролистал его, потряс вверх корешком и бросил. Ковер со всей постелью, казалось ему, кренило на левую сторону. «Рвется там, где тонко», — думал он, вспоминая, как вчера в регистратуре сунул гостиничную визитку между страниц паспорта и как сегодня искал ее в бумажнике, не соображая, что ищет. Внутри него будто выходило из берегов горячее море. С рассеянной улыбкой он воображал заплаканное лицо Ланы, сидящей у его ног, и, словно к чему-то сторонне-

му, приценивался сразу к нескольким мыслям, следовавшим одна из другой: так как образ Ланы уже существовал самостоятельно, звучавший только что в эфире смешливый голос больше не принадлежал ей и, значит, не было никакого особого, личного, резона советовать этому незнакомому человеку, ненароком выписавшему себе и своему *туруну* настоящих, профессиональных мясников, немедля удариться в бега. Выудив из-под ворота нательный крестик, Вельцев сунул его в зубы. В темноте перед ним маячила назойливая картина: горящая, глодаемая пепельной каймой лаковая путевка с изображением тропического водопада. На стене зябко частили ходики с кукушкой. Простуженным железным скрежетом вскоре пробило час. Птичья ставенка не открылась, лишь задрожала, однако Вельцеву за игрушечной возней послышались громы небесные — кто-то так же вхолостую, аккуратно ворочал замком входной двери. Он не глядя подобрал пистолет, взвел курок и усмехнулся человечку на шнурке: без звонка.

Часть 2
Мертвые души

Александр Анучкин
Поляна тысячи трупов
Лосиный Остров

Москва, Восточный административный округ, муниципальное образование «Богородское». 1996 год.

Когда Николай Петрович Воронов вот так сидит и вот так смотрит: жди беды. Впрочем, если он смотрит как-то иначе, все равно — жди. Николай Петрович и беда — близнецы-братья. Его за глаза зовут Бандерасом — в честь мексиканского актера, покорившего мир своей чрезмерной мускулинностью, своим диким мачизмом. Когда смотришь на настоящего, голливудского Бандераса, кажется, что он какой-то ненастоящий. Ну не бывает таких. По крайней мере, так говорят. Я сам уже давно не был в кино — дорого и бессмысленно. Тем более, что совершенно живой и настоящий Бандерас отечественного розлива сидит сейчас передо мной, а я сижу и смотрю на него.

Я понимаю, что встретить на своем пути такого мужчину — это огромная удача. Только не

подумайте, что я как-то там альтернативно ориентирован или что мне не нравятся женщины. Боже упаси! Просто Николай Петрович — действительно прекрасен.

Ему что-то около сорока, у него волосы (как пишут в книгах) цвета воронова крыла, они зачесаны на пробор, набок, но слишком длинны. Он на дежурстве уже вторые сутки, но на нем — белоснежная рубашка без единой складки, а воротничок… Боже, его воротничок!

У него пронзительные глаза. Сейчас, когда я это пишу, на ум приходит только одно сравнение: кино про город греха. Опять кино, будь оно неладно, но ведь так оно и есть. Опер Воронов — главный в районе греха, округе греха, административном делении греха. Строго говоря — и грех, и тот, кто его покарает, — это и есть Воронов.

Еще у него усы, они чуть грустно спускаются до середины подбородка, глубокие складки от висков до середины щек и полное отсутствие зубов. Есть только передние, да и те — прокуренные, пропитые, коричневые. Когда он улыбается — вопросов не остается. Мент, но алкоголик. Алкоголик, но может остановиться. Может, но не захочет. Убьет. И не подумает.

Он закуривает третью сигарету — одну от

другой — за последние десять минут, и через ядовитый дым «Явы Золотой» смотрит мне прямо в глаза. Глаза у него карие, а взгляд — ледовитый, холоднее океана. Наша дуэль глазами продолжается уже третий месяц, с тех пор, как я поступил к нему в услужение. Проще сказать, стал младшим опером в отделе имущественных преступлений ОВД «Богородское» УВД Восточного округа ГУВД города Москвы. Все это случилось внезапно, помимо моей воли, но сегодня — не это предмет для разговора, это вообще — повод для отдельного романа. Я — плохой мальчик. Мне 24, самая маленькая моя наколка, огромный Кракен, пожирающий мир, начинается от лодыжки правой ноги и доходит до левого уха. На эту наколку ушли все деньги, которые я заработал семь лет назад, когда мы с пацанами топили за ногу в Яузе одного драгдилера, нашего одноклассника. Уже тогда во мне внезапно возникло обостренное чувство справедливости: я смог убедить всех, что торговать наркотиками — это очень плохо. Поэтому мы заставили того урода пообещать больше так не делать, а деньги забрали. В назидание. Потом были и другие барыши — мы очистили район от сутенеров, мелких барыг, скупщиков краденого, но парни в какой-то момент останови-

ли меня. Впрочем, было уже поздно. Я превратил самого себя в одну большую ходячую примету, в якудза из ночного кошмара Такеши Китано. Прутья, листья, ветки, кельтская вязь и японские драконы — вся нечисть мира воевала на моем теле за право на свободный миллиметр кожи. Что творилось чуть глубже, в душе — лучше и не пытайтесь понять.

У меня оставалось только два пути, и я выбрал неправильный. Теперь я опер, чахлый сержант с пушкой по расписанию, в чахлом ОВД «Богородское», где наркоманы воруют дрели со строек, наркоманы насилуют наркоманов, иногда не разбирая пола своей жертвы, и наркоманы же убивают наркоманов, чтобы раздобыть себе немного героина — ведь наркотики не родятся просто так под трамвайными рельсами. А рельсы — это единственное (если, конечно, не считать наркоманов), чего у нас в районе в избытке.

А Николай Петрович сидит в своей белой рубашке напротив меня и курит уже четвертую сигарету. Сегодня у него праздник. Ему, спустя положенных пять лет, все же дали майора, а он — на дежурстве. На Бойцовой улице, там, где находится наш отдел, последние часа три нет вообще никого. Даже умалишенные спрятались.

Очень скоро мы выйдем и пойдем отмечать звездочки. Пиздец всему живому.

Я закуриваю вторую и смотрю на Воронова. Он отдыхает. В полутора метрах от нас, за дверью, на кривой дерматиновой банкетке в коридоре, своей участи — вперемешку — ждут бандиты и терпилы. Скоро Николай Петрович, цезарь в белой рубашке, с двумя неуставными пистолетами в желтой подмышечной кобуре, начнет прием. Будет казнить и миловать.

А пока он насыпает себе в чашку дрянной «Нескафе», который принес рано утром с рынка битый индус. Воронов сыплет одну ложку, две, три. Над четвертой он немного задумывается, но потом, с решительностью Александра Великого, опрокидывает и ее. Одна щепоть — семь кусков сахара. Струя кипятка, грязная ложка, первый шумный глоток. Опер закуривает еще и откидывается на спинку протертого до фанеры кресла. Закрывает глаза, затягивается, выпускает дым. Потом — одними только веками — командует мне: «давай». Я открываю дверь. В первый раз за этот вечер.

Я осторожно хлопаю по щекам первого просителя. Он давно сидит. Из его комнаты в коммуналке на Открытом шоссе соседи вынесли новенький

телевизор. Воронов уже предупредил меня — будем оформлять отказной материал. Уголовного дела этот терпила не дождется. Он родился, чтобы терпеть, чтобы быть потерпевшим. Я учусь быть таким, как Николай Петрович. Недаром же, в конце концов, улица, на которой стоит наш отдел, называется Бойцовая. Здесь, на Бойцовой, живут и работают очень крепкие люди. У них, если сказать проще, нет других вариантов.

Вот еще одна. Ее только что привезли из ИВС. Выбросила на помойку новорожденного младенца. От нее пахнет сладким дешевым алкоголем, меня тошнит. За время допроса я раза четыре выбегаю в наш грязный, один и для ментов и для жуликов, сортир на два очка. Блюю. Мне кажется, что уже желудком или даже прямой кишкой. Воронов спокоен, похож на сфинкса. Его белая выглаженная рубашка становится все белее и гранитнее. Он говорит:

«Ты в ближайший месяц съездишь на помойку. Верь мне. Там, на помойке, ты будешь описывать труп новорожденного младенца. Он пару раз глотнул воздуха, а потом его тупо ёбнули. Тебе будет очень плохо. Ты будешь истово искать его чертову мамашу, найдешь, посадишь вот в это кресло, где сидишь сейчас сам. Сядешь на мое ме-

сто, посмотришь ей в глаза, в надежде увидеть ад. А увидишь — пустоту. Пустоту, мой юный друг. Пустота и есть ад. И наоборот. Я хочу, чтобы ты скорее утратил иллюзии и понял все о том, где, как, зачем и почему мы. Верь мне. Я — лучший из многих».

Меня опять тошнит, и я убегаю. Воронов терпеливо ждет, сегодня он не намерен останавливаться.

Мамаше этой, кстати, дадут двушник условно. Тебе повезет, если через пару лет история повторится уже не в твое дежурство. А вот если в твое — это плохо. Может сорвать, хотя ты уже и будешь довольно крепким.

Он протягивает мне свою мерзкую сигарету. Я чиркаю, и с пятого раз получается прикурить. В окно видны какие-то задворки. Я каждый день хожу этими дворами, но точно не помню, как именно называются улицы. Признаться, и не хочу. Для меня это все — бесконечная пустота. Один Восточный округ. Тут, если пройти совсем недалеко, школа, в которой я учился. Там еще немного — вот она, остановка трамвая, на которой, в исступлении, я лупил кулаком по чугунной крашеной стойке, пытаясь унять боль любви. А вот дворик, где был мой первый труп, труп,

которому я нашел имя и убийцу. Быстро нашел, в соседнем подъезде. И раскрыл. Мне тогда дали грамоту — как самому молодому сыщику. И только Воронов не радовался со всеми моему успеху. Он говорил:

— Все люди однажды умрут. Обязательно, — говорил Воронов. — Потом придут другие люди, либо менты, либо — доктора. Придут и расскажут причину смерти. Ты только пойми, студент, от этого на моей памяти еще никто не воскресал. Не гордись, а то захочешь стать немножечко Богом.

Я проклинал его потом всю ночь, не мог спать. Кажется, плакал. А утром он стоял на Бойцовой, прямо памятник поэту. Курил, сдувал пепел. Ждал меня. Он все время ждал меня. Ему нравилось работать с детьми, такими — как я.

— Жизнь не кончается там, где ты о ней ничего не слышал, понимаешь? Жизни очень много. И она имеет причудливые формы. Ничего, что я похож на учителя биологии? Люби своих близких, свою семью. Все остальные заслуживают смерти. Ты думаешь, я неправ?

Всю эту мудрость веков он умудрялся вложить мне в голову минуты за три — пока шли от остановки до отдела. Я уже не помнил школу и институт. Это было глупо, в самом деле, вспо-

минать этих испачканных в меле импотентов. Слева от меня шел мужчина. Человек, познавший жизнь, а потом — грубо поставивший ее раком. Просто потому, что он всегда любил быть сверху, но терпеть не мог лежать. Сидеть — лицом к тебе. Или стоять. Вот это — да.

Его дежурство уже закончилось, нам пора. Мы выходим из отдела, скользя по щербатым ступеням, покрытым толстой коркой льда. Сегодня нет ни одного пятнадцатисуточника, ни одного задержанного алкаша — лед скалывать некому, а толстый дежурный никогда не поднимет задницу. Он мечтает только о том, чтобы ему в кресло вмонтировали утку. Тогда он вообще перестанет вставать. Мы скользим, материмся, прикуриваем. Воронов запускает двигатель своего «Москвича», купленного на деньги пятой жены. Супруга не поскупилась, мы знаем. Самый мощный движок из разряда серийных, самый доступный форсаж двигателя из всех возможных. На трассе эта разваливающаяся колымага выдает до 250 км в час. Бритоголовая молодежь с уважением прижимается к обочине, когда слышит этот звук, звук двигателя вороновской развалины. Сейчас мы поедем на поляну тысячи трупов, это такое специальное место.

У меня есть немного времени — пока греется машина, пока мы едем, а вся дорога займет минут 15. Я расскажу вам о поляне трупов.

Когда-то очень давно, но уже после того, как Господь придумал Землю, а люди разделили ее на части, в одном отдельно взятом городе территорию пилили на части. Каждый неровный кусок закрепили за каким-то одним конкретным околотком. Лишь где-то в самой заднице Восточного округа, на стыке нескольких границ, в национальном парке Лосиный Остров, что-то у милицейских начальников не сложилось. Получился неровный кусок совершенно ничейной земли. Километр на километр. Никто не горевал на эту тему. В самом деле — ну какие такие преступления могут произойти на этом жалком пятачке? Те, кто так думал, ошибались. Когда все окрестные менты осознали, с чем именно граничат их земли, на этом пятачке начался сущий ад. Сюда свозились неопознанные трупы, здесь они и гнили. Сюда на разборки выезжали и местные братки, и люди в погонах. Здесь забивали стрелки, здесь однажды на моих глазах произошла самая настоящая дуэль: два молодых летёхи стрелялись из-за девки-эксперта из окружного ЭКУ. Я был секундантом у одного, мне пришлось тогда

затыкать своей новой курткой огромную дыру в животе у поверженного. Он белел, серел, честное слово — ни до, ни после я не видел, чтобы лицо у человека меняло цвет с такой скоростью.

Для тех, кто знает толк в жизни и смерти, поляна стала культовым местом. Вот туда мы и едем. Почти приехали, кстати. Нам навстречу через ночь, через черные сучья, отражаясь от наста, в глаза лупят фары чужой машины. Нас уже ждут — у Воронова много друзей.

— Тут паренек один умирал, — ни к кому конкретно не обращаясь, говорит Воронов и глушит двигатель. Но я-то знаю — он продолжает меня воспитывать. Приучает меня жить. Мы выходим из машины, смотрим по сторонам. Младший опер Хмарин вытаскивает из багажника алкоголь и пакеты с закуской. — Дня три, наверное, — продолжает Бандерас. — Его машина сбила на аллее, он сюда уполз. Лежал, хрипел, на помощь звал. Его потом всякая нечисть объела.

— Что за нечисть?

— Мало ли. Национальный парк. Зверья тут. — Он длинно плюет в снег желтой слюной.

Встречающая нас машина меняет дальний свет на ближний. Зябко кутаясь в летние кожанки, выходят люди. Я знаю их довольно смутно:

окружной уголовный розыск, все — друзья моего нового шефа. Они страшные, но я привыкаю. Для них поляна — понятное место. Для меня пока — дикая экзотика. Мы жмем друг другу руки. Взрослые мужчины разбиваются на группы, пока мы с Хмариным сервируем на капоте длинного американского автомобиля импровизированный стол. Машин уже много, около десятка. Они подкатывают одна за одной, образуя неровный крут. Каждый — со своей стороны поляны. Я режу деревянными от холода пальцами колбасу и понимаю: сегодня здесь раскроют десяток тяжких и особо тяжких, просто так, легко, с пластиковым стаканчиком в руке. Один сольет другому, другой — третьему. Они договорятся, и завтра, прямо утром, начнут писать отчеты.

— У всех есть? — спрашивает Воронов, поднимая белый ребристый стаканчик.

— Аааааа, ууууу, — отзываются опера.

— Понеслась, — резюмирует шеф, отправляя в глотку одним движением граммов 120 кристалловской перцовки.

Нам везет. Завод «Кристалл» — вотчина оперов Восточного округа. Мы, по крайней мере, пьем качественную водку.

Ходят кадыки — вверх-вниз. Вверх-вниз. Менты

выпивают. Я украдкой выливаю половину под бедро, мне удобно — я сижу на каком-то замшелом куске бетона. Скользко, но удобно.

Пикник затягивается. Похоже, скоро рассвет. Я внимательно вглядываюсь в лица окружающих меня людей. Они сильно пьяны, но не вызывают отвращения. Просто стали говорить чуть громче, все чаще руки с короткими толстыми пальцами рубят воздух в опасной близости от собеседника. Да, слово «опасность» сейчас — самое уместное. Эти люди, непредсказуемые, наделенные почти безграничной властью, могут сотворить что-нибудь ужасное и на сухую, а сейчас…

Еще одна бутылка идет по кругу. Еще одна. Я уже перестал их считать и перестал поражаться предусмотрительности собравшихся — сколько же они привезли с собой? Деловые разговоры заканчиваются. То там, то тут — вспышки смеха. У ментов сегодня отличное настроение.

— Бандерас! — кричат с другого конца поляны. — Слушай, мне говорили, что ты после литра можешь с двух рук выбить девять из десяти! Врали?

— Никак нет. — Николай Петрович вскидывает тяжелую голову. — Врали только в одном: десять из десяти. Даже после двух литров.

Поляна смеется. Мне кажется, что эту скользкую тему надо бы закрыть, я даже открываю рот, но меня опережают — слишком уж долго я обдумываю, что бы такого оригинального сказать.

— А вот сейчас и проверим, — покачиваясь, на центр поляны выходит мужчина лет пятидесяти. Я узнаю его — это зам по розыску из соседнего отдела. Полковник. У него был хороший шанс уйти на повышение в МУР, к убойщикам, но что-то не заладилось. Говорят, опять водка во всем виновата. Полковник извлекает из кармана манерной кожаной куртки яблоко, сдувает с него табачные крошки и водружает себе на голову. Поляна взрывается смехом.

— Смотри, — толкает меня в бок младший опер Хмарин. — Ща чего-то будет.

Сказать по чести, мне страшно, но Хмарин совершенно спокоен, улыбается во весь щербатый рот:

— Два года назад Бандерас поставил здесь троих таджиков, насильников. Они чистуху не хотели писать. Каждому по яблоку на маковку, и два ствола. Говном, говорят, сильно воняло, но все обошлось.

— Написали?

— Написали, ясное дело. Что угодно напишешь,

когда пуля голову обжигает. — Хмарин хлюпает носом. — Я, правда, не видел. Рассказывают.

Я не сомневаюсь, что так всё и было, но тревога не отпускает. Я смотрю на Воронова. Все же он очень сильно пьян. Перехватив мой взгляд, он улыбается, приподнимая кончики усов. Он подходит ближе, наклоняется к моему лицу, обдавая водочными парами, и шепчет:

— Если встретить старого друга и купить ящик перцовки, то может выйти неплохой отдых. Надо только пистолеты дома оставлять. Мне об этом тоже говорили, но я забыл. Хоть ты помни, студент.

Меня охватывает паника, но изменить что-то уже не в моих силах. Полковник стоит в центре поляны и продолжает глупо улыбаться. Яблоко дрожит на его голове, норовя упасть. Воронов отмеряет 25 шагов и встает напротив. Менты затихли. Эту тишину сейчас можно щупать, можно резать ножом и мазать на хлеб. Оглушительно хрустит снег у кого-то под ногами — офицеры мерзнут в зимнем лесу, теплые ботинки — не их стиль. Воронов достает из левой кобуры неуставной «ТТ», внимательно смотрит на него, на секунду закрывает глаза. Сейчас я чувствую его так, будто проник в сознание. С закрытыми глазами он целится, не поднимая ствол. В следу-

ющий миг происходит страшное. Окоченевший от стояния на одном месте полковник чихает. Мы еще не слышим звука и не понимаем, что происходит, видно только — как вдруг сморщилось его лицо. Он широко открывает рот, яблоко падает со стриженой макушки, а ночную тишину уже рвет на мелкие части пистолетный выстрел. Он успевает чихнуть и мешком валится в снег. Ноги подгибаются, руки — нелепо разлетаются в стороны, пуля калибра 7,62 пробивает его голову как спелую дыню — насквозь. Вот конвульсивно дергается левая нога — мелко-мелко. Раз, другой, третий. Вот напрягаются все мышцы, вздымается и опадает грудь. Тысяча первый труп на поляне.

Кажется, никто не удивлен. Опера деловито и молча собирают следы застолья, сбрасывают бутылки и закуску в багажники. Один за другим запускаются двигатели, скрежещет под колесами сухой снег. Проходит, наверное, минуты три, может — и целая вечность. И вот мы — двое на поляне. Воронов, нервно сжимающий «ТТ» в руке, я, застывший в нелепой позе на замшелом бетонном столбике. Труп полковника.

Наши взгляды встречаются. Бандерас подходит ко мне и смотрит сверху вниз. Кидает мне под ноги пистолет.

— Держи, подарок. — Он разворачивается на каблуках и идет к своей машине. — Парень, менты не сидят в тюрьме. Они там очень быстро умирают. Или перестают быть ментами. Или вообще перестают быть.

— И что?

— Ты пока не понимаешь.

— Ага.

— Ага. Идиот. Ты — мент. Вот и все. Не дай тебе Бог. А если даст — все быстро поймешь. Пока.

Он заводит двигатель и уезжает. Я остаюсь один. Я сижу так еще час, до тех пор, пока окончательно не проходит опьянение. Мой мозг сейчас удивительно чист, я знаю, что нужно делать.

Натягиваю перчатки, беру «ТТ» за ствол. Носовым платком тщательно протираю все части пистолета, подхожу к трупу. Мучительно вспоминаю — а не левша ли наш полковник? Нет, вроде — нет. Пальцы его уже начали коченеть, но не все потеряно. Я вкладываю оружие в его правую руку, придирчиво оглядываю поляну. Всё нормально, да. В метре от трупа в снегу лежит яблоко — желтое с красным бочком. Я поднимаю его и откусываю большой кусок. Люблю немного подмороженные яблоки, что уж тут поделать.

Больше здесь делать нечего. Хрустя яблоком, я

быстро иду по тропинке в сторону Ростокинского проезда. У меня еще есть какие-то деньги, надо поймать попутку и ехать домой. Завтра — к 8 на службу.

Я знаю, что будет утром. Бандерас посмотрит мне в глаза, я молча кивну. Он кивнет в ответ и пожмет руку. Просто так — мужчины здороваются. Он не будет задавать вопросов, ведь вчера он ни о чем не просил меня. Все, что я сделал — я сделал сам, по собственной воле. У нас, в прокуренных кабинетах два на три в доме 12 по Бойцовой улице, любой сделал бы так же.

Пройдут месяцы и годы, мы будем делить с Николаем Петровичем один кабинет на двоих. Будем ловить, раскрывать, наказывать или посылать куда подальше этих назойливых потерпевших. Не надо было, дядя, класть ценное имущество на всеобщее обозрение. Даже в магазинах на камерах хранения пишут: администрация не несет ответственности за ваши ценные вещи. Какого же черта мы должны?

У нас и без того — обостренное чувство справедливости, а в соседнем ОВД теперь, кстати, отличный зам по розыску. Молодой, толковый мужик. Говорят, зашитый, совсем не пьет. Надо будет, при случае, поехать познакомиться. Вот

только «Москвич» починим, а то несолидно ехать на первую встречу с коллегой с такими-то ржавыми крыльями.

Я все помню, все знаю, и все об этом знают. Но мне совершенно нечего бояться. Последние пять месяцев я или сижу дома, или хожу в прокуратуру. Мне еще повезло, что меня оставили под домашним арестом, а не отправили в «Лефортово», благо близко. Такая, знаете ли, глупость. Там было очень темно, и, признаться, страшно. Никто из нас не знал, что будет за дверью, а я — я стоял первым. Уже давно не младший, не студент, не стажер, а опять первый. Всю жизнь первый. Когда «тяжелые» вынесли дверь и отскочили в сторону, я вошел и выстрелил на звук. Теперь в объяснениях — сколько их было — я пишу: она что-то выставила в мою сторону. Шприц это был, просто шприц. Но я тогда чуть не обосрался, честное слово, и раза четыре нажал. Я хорошо стреляю, но хуже Воронова. По крайней мере, когда нас вывозят раз в год на стрельбы, он, как и раньше, выбивает 10 из 10, а мой абсолютный рекорд — восемь. На общем фоне, говорит кадровик, очень даже хорошо. А тут меня как подменили: все четыре пули легли рядом, груди у той девки не стало вообще.

Ей лет 19, уже не помню. Следак у меня — нормальный малый, мой ровесник. Я знаю, перед арестом он отпустит меня домой. Я позвоню Николаю Петровичу, мы поедем на нашу поляну, и я предложу ему игру. Он не сможет отказать мне. А стреляет он лучше. Иначе и быть не может. Меня нельзя сажать в тюрьму. Я там помру. Менты не сидят в тюрьме. Они там перестают быть ментами или умирают. Что, впрочем, без разницы.

Владимир Тучков
Вердикт «Макарова», грязный секс, или Встреча боевых друзей
Чистые пруды

Выйдя из метро «Чистые пруды», Максим, как обычно, врубил максимальную скорость, поочередно выкидывая вперед мускулистые ноги, словно это были шатуны работающей с предельной производительностью машины. Да уж, машине, не имевшей ни зрения, ни слуха, ни обоняния, в этом «райском» уголке Москвы было бы гораздо проще. Максиму же предстояло проскочить мимо выстроившихся цепью потных людей-сэндвичей, сующих прохожим отпечатанные на слепом принтере листовки с адресом бюро переводов. Мимо смердящих мочой бомжей, привольно расположившихся у памятника Грибоедову. Мимо безумного патлатого старика с мощной усилительной аппаратурой, распевающего псалмы под арабскую музыку. Мимо дюжины кобелей, которые по очереди трахали похотливую сучку. Мимо зловонного пруда, который наши недальновидные предки непонятно

на каком основании назвали чистым…

Максим вспомнил, как в свое время пел Игорь Тальков, пел, пока не словил на шоуменской разборке выпущенную из «Макарова» пулю, навеки его успокоившую. И эта слащавая песня была пародией на нынешнюю ситуацию:

Чистые пруды, застенчивые ивы,
Как девчонки, смолкли у воды.
Чистые пруды — веков зеленый сон —
Мой берег детства, где звучит аккордеон…

Какие ивы? — Обоссанные скамейки, с рассевшимися на них дебилоидами!

Какой аккордеон? — Электронная долбежка, раздающаяся из окон тупо торчащих в пробке машин!

Какие девчонки? — Бляди им имя!

Максима тошнило от такого рода мест, некогда овеянных романтическими именами и старинными культурными традициями, которые теперь, когда Москва обожралась нефтедолларов и вот-вот лопнет, разбрызгивая во все стороны гной, ассоциировались с месяц не стиранными носками.

…Конечно, ему можно было бы уподобиться

машине и просквозить к базе, которая когда-то, в незапамятные времена, была индийским рестораном «Джатаранг», просквозить, ничего не видя, ничего не слыша, ни на что не обращая внимания. Однако он был машиной совсем иной конструкции. И функции в нем были заложены другие. Он дожил до сорока лишь потому, что довел до автоматизма способность замечать любые окружающие его мелочи, каждая из которых могла быть чревата летальным исходом.

Когда-то, в горах Афганистана, смерть могла сулить слегка покачнувшаяся ветка или подозрительно приглаженная — не ветром, а рукой сапера — дорожная пыль.

Потом, выйдя на гражданку, когда убийство стало для него боссом с толстым кошельком, а также адвокатом и менеджером, костлявая могла таиться за затемненными стеклами джипов, в толпе, за углом… Короче — всюду. Потому что теперь у него не было ни фронта, ни тыла, ни надежно укрепленной базы. Фронт был там, где находился Максим.

Теперь, когда он — не столько из-за денег, которых ему и без того хватало, сколько из-за желания доказать себе и другим, что и в свои сорок он даст фору любому двадцатипятилетнему щенку — ре-

шил ввязаться в большую игру, смерть окружала его со всех сторон. Стволы с глушителями могли, в принципе, одновременно целиться ему и в лоб, и в затылок, и в виски — в левый и в правый. В общем-то, не исключалась возможность того, что кто-то невидимый прилепился инфракрасным лучиком наводки к его макушке. Поэтому обходиться в его положении пятью человеческими чувствами, хоть и натренированными до виртуозности, было невозможно. Нужна была еще и звериная интуиция. А она его еще ни разу не подводила. Впрочем, хватило бы и одного раза…

Три недели назад Максим принял предложение поиграть в занятную игру, призовой фонд которой составляет 10 лимонов. Они должны достаться тому единственному из двенадцати игроков, кто останется в живых. Правила предельно простые. Игровое поле — территория Москвы, ограниченная кольцевой автодорогой. Каждый выбирает то оружие, какое ему по вкусу. Хоть цепляй к джипу гаубицу и разъезжай с ней по улицам, хоть засунь в карман отточенную пилку для ногтей. Убивать конкурентов можно любым способом, снимая процесс на веб-камеру, которая подключена к игровому серверу. Неудачнику, попавшему в ментовку, организаторы игры, могу-

щественные в финансовом отношении, никакого содействия в освобождении не оказывают. И он прямиком отправляется на скамью подсудимых и, естественно, выбывает из игры. На все дается месяц. Если к контрольному сроку уцелеют несколько игроков, то рефери бросает жребий, и лишних просто-напросто убирают выстрелом в затылок.

Как объяснили игрокам, за всем этим делом стояло около двух десятков миллиардеров, тех, которые находятся внизу списка журнала «Forbs» со своими «жалкими» полутора-двумя миллиардами, намытыми в последнее время на наркоте и подпольном игровом бизнесе. Максиму, в общем-то, это было по барабану — кто и что. И какое ломовое бабло крутится в тотализаторе, в котором ставили не на лошадей, а на людей, дырявящих друг друга с большим знанием дела. Лишь бы приз в конце игры выкатили.

До конца оставалось шесть дней, а он был уже выжат как лимон. Пришлось замочить не только пятерых противников, но и еще девятерых посторонних. Как говорится, издержки производства. Трое стали просто жертвами недоразумения. Он их просто перепутал, слишком уж были похожи. Да и вели себя подозрительно. И тут уж размыш-

лять и перепроверять некогда, тут уж кто первым пушку вытащит… Они не вытащили, да и вытаскивать этим бедолагам было нечего. Не повезло.

А шестеро свою смерть заслужили вполне. Эти нанялись за мелкую денежку к одному из игроков. В качестве осведомителей — выслеживали его противников и сообщали об их передвижении. Их Максиму жалко не было. Ничуть. Он вспомнил, как один из них — суетливый паренек лет тридцати — умолял оставить его в живых. Мол, деньги были нужны, потому что у пятилетней дочки саркома, и нужны дорогие лекарства, и без них она умрет, и если он умрет, то и ей не выжить… И Максим почти выполнил его просьбу в обмен на номер телефона нанявшего паренька игрока. Но когда узнал, что это тот самый, который три дня назад убил Аркашу, его армейского друга, то не сдержался. Сломал шейные позвонки, так что паренек и не заметил своей смерти… Мало кто из людей здоровых, не прикованных к больничной койке, ее замечает. Особенно быстрой она бывает у людей, сделавших смерть своей профессией. Столь же быстрой, как и пуля, которая уже вовсю обжилась в бездыханном теле к моменту, когда прилетает звук выстрела.

Да, Максим неожиданно обнаружил среди

игроков Аркадия. Там, в Кандагаре, когда духи долбили их десантную роту из минометов, он породнился с ним. И еще с Никитой. Тогда они втроем уцелели из всего взвода. И поклялись в вечной дружбе. Однако воды с тех пор утекло немало. И все вокруг поменялось. Да и они тоже… Такая вот блядская жизнь!

— Мне эти деньги позарез нужны! — сказал Аркадий, глядя Максиму в переносицу. — У меня выбора нет.

— У меня тоже без вариантов, — ответил Максим. — Хоть без этого бабла я мог бы и обойтись. Да еще и тебе помог бы, у меня кое-что есть. Но уже поздно соскакивать.

Действительно. Игроки уже дали согласие на игру. То есть как бы подписали кровью контракт с дьяволом. Где было оговорено, что за отказ от игры, который был чреват разглашением тайны, отказник подлежит ликвидации. Все предельно честно и по-мужски.

Вполне понятно, что Максим и Аркадий договорились, что ни при каких обстоятельствах убивать друг друга не станут. Если через месяц останутся только они вдвоем, то пусть проблему «быть или не быть» решает жребий — пуля, выпущенная из ствола, когда они будут играть в

«русскую рулетку». Ведь боевые же братья они, в конце-то концов, или суки распоследние?!

Эта мучительная проблема решилась сама собой…

Он шел вперед и сканировал все, что было впереди, слева, справа и сзади, автоматически, не размышляя, просчитывая варианты критического развития событий. Два клерка — мать с дочкой — три рыхлых оболтуса — алкаш — студентка — бомж — проститутка — пенсионер — КТО? спортсмен? да, взгляд расфокусирован — три тинейджера со сноубордами — нарком с ошалелыми глазами — КТО? ПРАВАЯ РУКА В КАРМАНЕ! нет, запястье прямое и карман мелковат, не то, просто раздолбай — молодящаяся старушка — самоубийца… точно, самоубийца — работяга — мент — опустившийся профи… — НИКИТА!

Да, это был он. Хоть узнать в этом потрепанном человеке, расположившемся на скамейке с пластиковой литровой бутылкой крепкой «Охоты», боевого друга — красавчика и везунчика — было не так уж и просто. Потрепанные кроссовки, из которых вот-вот высунутся большие пальцы. Обтрепанные джинсы. Замызганная куртка. Седина, запорошившая пятидневную щетину, уже захватила виски и подбиралась к некогда смоля-

ным волосам. Но самым удручающим был взгляд — потухший и тоскливый, как осеннее болото. Он был направлен не вовне. И не в глубь себя. А в те инфернальные сферы, которые называются небытием.

Максим остановился. Хоть в его ситуации это было и опасно. Но не мог же он пройти мимо друга, который, судя по всему, нуждается в помощи.

— Никита!

— А, это ты, — почти безучастно ответил Никита, словно перед ним был малознакомый человек.

— Что это ты? — кивнул Максим на пластиковую бутылку — атрибут опустившихся людей.

— А ты, как я понимаю, на плаву? Устроился в этой жизни? — заносчиво сказал Никита, почти выкрикнул.

— Да сдурел ты, что ли?! — воскликнул Максим, продолжая тем не менее автоматически сканировать окружающее его враждебное пространство.

— Я сдурел?! Где ты был три года назад? Ведь я тебе писал из Питера. Пытался дозвониться. Где — год назад, когда я в одиночку расхлебывал дерьмо, которое на меня обрушилось? Я сдурел!..

— Да не гони ты! У меня уже давно и адрес другой, и телефон. Да и в Москве я бываю не все

время. Не гони! Чем я тебе сейчас могу помочь? Именно сейчас!

Было ясно, что человека заклинило. Он был обижен на весь свет. И это было для него комфортно. Мол, забыли меня, суки, продали и предали! Никто, ни одна падла обо мне не позаботилась, когда мне это было нужно! А теперь я в вас, козлах, не нуждаюсь! Пошли все вон!.. Такие ни за что не признаются, что во всех своих бедах повинны прежде всего они сами, а не «суки», «падлы» и «козлы». С такими мыслями им так приятно не бриться, не менять неделями белье, дуть крепкую «Охоту» или «Балтику» №9 и катиться вниз. Чтобы остановиться ниже уровня поверхности земли, где их начнут обгладывать могильные черви. И это был еще не самый худший расклад. Максим однажды узнал о существовании собачьего питомника, где бультерьерам скармливали бомжей, живых бомжей, выращивая из них убийц и людоедов.

— Раньше надо было помогать, когда меня еще в Москву не занесло, — гнул свою упадническую линию Никита.

Когда у Никиты иссякли аргументы, которыми в нем разглагольствовал уязвленный эгоизм, он наконец-то заговорил по делу. Выяснилось, что

три года назад он срубил в Питере крутое бабло и решил податься в Москву. А что, все едут — город неограниченных возможностей! Продал питерскую квартирку, присовокупил полученные от Вали Матвиенко за работу в предвыборной команде деньги, серьезные деньги, и купил здесь, на Чистых прудах, трехкомнатную, в которой спокойно уместился бы их перебитый в Кандагаре взвод. Покуролесил с месяц, соря долларами, как пятикопеечными монетами. И потом начал укореняться. Проще всего оказалось найти жену. Ну, или типа того. Красивая, умная, сексуальная, преданная. Тогда казалось, что преданная. Поэтому через три месяца присвоил ей официальный статус жены, о чем была сделана запись и в паспорте, и в какой-то там регистрационной книге.

Сложнее оказалось в Москве зарабатывать на жизнь. Попытался открыть сувенирный магазинчик на Таганке. Не дали. На Китай-городе устроил чебуречную. Через две недели спалили. Заключил договор на поставку небольшой партии польской парфюмерии. Кинули на пятьдесят штук. После чего махнул рукой на собственный бизнес и устроился охранником в казино в Реутове. Зарплата плюс проценты с вложенных в банк питерских денег — это было совсем неплохо.

Однако судьба непонятно на каком основании решила вволю поизмываться над героем афганской войны. Банк лопнул. И Никите стоило огромного труда вышибить из них десятую часть вложения. А потом он и это проиграл. В том же казино, где и работал. Зашел как-то в выходной и решил попытать счастья. Ну, оно и привалило в полном объеме. Преданность жены начала стремительно таять, как снег в апреле. И вскоре она превратилась в злобную фурию. Но при этом остались три ее другие качества. Сексуальность. Правда, его этим своим качеством она перестала одаривать. Красота. И ум. И благодаря своему недюжинному уму жена три дня назад выперла Никиту из квартиры.

— Да ты ягненок, что ли? — изумился Максим. — Не мог на место поставить?! Кулаки у тебя есть? Выгони ее к чертям собачьим.

— Она перевела квартиру на себя. А я типа наследника.

— Ну, так замочи ее! Забыл, как это делается? Несчастный случай, и концы в воду.

— Нет. Я недавно крестился. Теперь не могу, дал обет на всю оставшуюся жизнь… К тому же, посмотри…

Никита вытянул вперед руки, ладонями вниз.

Пальцы заметно дрожали. Как у алкоголика.

— Да, дела! — сказал Максим, покачав головой. — Тебе, брат, в монастырь надо. И еще один обет — не брать в рот спиртного.

Помолчали, дымя сигаретами.

— Слушай, — прервал молчание Максим, — я прямо сейчас выкину ее к чертовой матери. С концами! Где это?

Никита назвал адрес. Это было рядом — дом двенадцать по Чистопрудному бульвару.

Он дождался, когда откроется входная дверь, и придержал ее, чтобы молодая мамаша вывезла коляску. Поднялся на третий этаж и выключил рубильник на распределительном щитке. За дверью, где жила жена Никиты, Жанна, замолчал телевизор.

Максим поднялся на пролет выше. И подождал, пока она позвонит в электросеть и там ей скажут, что у них все в порядке и пусть она проверит рубильник на лестничной площадке.

Жанна, несомненно, подозрительно глянув в глазок и не обнаружив ни малейшей опасности, открыла дверь. И вышла. И мгновенно, еще ничего не поняв, оказалась в квартире с зажатым ртом и прижатыми к туловищу руками.

Максим два раза повернул ключ и увлек Жанну

внутрь квартиры.

Она пыталась сопротивляться.

— Тихо, — сказал он шепотом. — Если не будешь орать, то останешься жить. Говори шепотом.

И медленно приоткрыл рот и ослабил хватку.

Жанна молчала, оценивающе оглядывая вероломного незнакомца.

— Деньги? — прошептала она.

— Нет.

— А, понятно. Пришел передать привет от моего мудака. Бывшего.

— Да, он сказал, что ты умная. Не соврал.

И тут Максим разглядел, что она еще и красивая. В смысле — сексапильная.

И понял, что одно насилие или два — какая, в сущности, разница. Несомненно, Никита его за это дело не осудит.

И изменил характер хватки с мертвой на требовательную.

С удивлением почувствовал, что она этому не противится. Напротив — прижалась (от нее так сладко пахло самкой!), задышала взволнованно.

У Максима мгновенно встал.

Но головы он при этом не потерял. Снял куртку, к которой была прикреплена постоянно подключенная к игровому серверу вебкамера, и повесил

ее в прихожей. Так, чтобы камера уткнулась в стену. Ни к чему им это видеть.

И прошел в комнату…

Жанна стонала. Взвизгивала. Это был высший пилотаж. Такие попадаются не чаще чем раз в полгода, подумал Максим.

Он трахал ее, как дикое животное. Как бабуин. Как орангутанг. И ей это нравилось.

Этой взбесившейся сучке было мало. «Еще!» — завывала она и материлась, как шанхайская блядь, отдающаяся взводу морпехов.

Разлепились. И он слушал, не прерывая, как она его нахваливала. Как кляла мужа-импотента. Как уговаривала остаться. Навсегда. Как им будет вместе хорошо. Охуительно. Именно так и сказала — охуительно. И не сказала даже, а пропела нежно, отчего это слово утратило матерность и приобрело лиричность.

Максим слушал молча. И кивал головой. Мол, помечтай, крошка. Мечтать никому не вредно.

А потом он трахал ее еще раз. И с тем же самым упоением.

Кончил.

И вдруг обнаружил у нее кадык.

Блядь!

Это трансвестит!

Это какая-то грязная и опасная игра, в которую втравил его Никита!

Он мгновенно овладел собой, не подав виду, что заметил.

— Я принесу что-нибудь выпить, — сказал трансвестит. — Не против?

— Нет.

Трансвестит принес из соседней комнаты два бокала с вином. И Максим понял, что пить этого он не станет и под дулом пистолета.

Взял бокал.

— Что же ты?

— Хочу посмотреть, как ты. Такие красивые должны пить очень красиво. Посмотришь, и член опять в бой рвется.

Трансвестит рассмеялся и два раза отглотнул. Кадык два раза двинулся вверх-вниз и остановился. Не большой он был, конечно. Но явно мужской.

Максим поставил бокал.

— Ну, начнем с традиционного вопроса, — сказал он, сомкнув пальцы на шее трансвестита. Не особо туго, но чувствительно. — На кого ты работаешь?! Только негромко!

Никита, который, несомненно, сейчас вперился в коммуникатор, подключенный к его

веб-камере с микрофоном, не должен был ничего услышать. Технология игры заключалась в том, что у каждого игрока был коммуникатор, с помощью которого он мог подключаться к каналам своих противников, которые в нон-стоп режиме транслировали картинки и звук с их веб-камер. И по этим картинкам можно было угадывать, где они сейчас находятся.

— Не поняла.

— Не не поняла, а не понял! Слушай внимательно. У тебя единственный шанс остаться в живых. Если ты все правдиво и подробно расскажешь. Кто тебя нанял и зачем. И что со мной должны сделать.

Трансвестит съежился. И рассказал. Про то, что к нему иногда посылают неизвестных ему людей. И он их «обслуживает», как сегодня обслужил Максима. Потом подливает в вино клофелин. И когда клиент вырубается, вызывает некоего Артема. Тот кончает потерявшего сознание человека. А ночью двое бритоголовых куда-то увозят его на джипе. Больше трансвестит ничего не знал. Зачем все это — было, в общем-то, понятно. Но вот кто все это организовал? Вот в чем вопрос.

Еще один вопрос заключался в том, как же это Никита скурвился до такой степени? Хуже шака-

ла! Но об этом Максим старался не думать.

— А ты, значит, убить не можешь?

— Нет, — ответил трансвестит, побледнев, как смерть.

— Значит, у вас тут поточное производство. Один сученыш работает подсадной уткой. Другой оказывает сексуальные услуги. Третий убивает. И четвертый с пятым утилизируют труп. Вы тут, блин, прямо хоккеисты какие-то! Пятеркой работаете!

— Не убивай меня, — прошептал трансвестит.

— А ты был правдив?

— Да. Честно. Всю правду… Когда в первый раз, то я не знала, для чего они. Хотела просто денег заработать. А после первого раза нельзя уже было отказаться. Они бы меня тоже.

— Ладно, живи. Вызывай.

— Кого?

— Убийцу, Артема этого.

Когда раскрылась дверь, Артем получил рукояткой пистолета по голове и рухнул на пол.

Но пока он валился, довольно медленно, Максим понял, что это Никита.

«Что за блядская жизнь, — подумал он с тоской. — Во что же, в какое говно ползучее мы все превратились!»

И даже плюнул на пол. Точнее — Никите на замызганную куртку, которая несомненно, была для него спецодеждой.

— Ну, без пяти минут монах, рассказывай, — сказал Максим, когда Никита очухался.

Никита молчал.

— Надеюсь, ты понимаешь, что живым ты отсюда не выйдешь, иуда?

Никита кивнул головой.

— Аркашку — ты?

Никита опять кивнул головой, глядя в пол.

— Рассказывай.

— Я был вынужден.

— У пятилетней дочки лейкоз? — спросил Максим, вспомнив тридцатилетнего паренька, которому он свернул шею, как цыпленку.

— Нет. Я попал на большие деньги. И они взяли жену. Дали три месяца сроку.

— Сколько?

— Пол-лимона.

— Блядь! — взревел Максим. — Что же ты наделал! У меня есть. Есть лимон! Я бы…

— Откуда мне было знать? Все разошлись… Блядская эта жизнь нас растащила в разные стороны.

— Ладно. Слово даю: жену я вытащу. Расска-

зывай.

…Никита начал рассказывать. Про то, что менеджер программы решил сыграть по-черному. Естественно, в тайне от учредителей, которые выплачивают призовые. Десять лимонов должны достаться игроку, выступающему под четвертым номером. Он ничем не рискует. Потому что менеджер сколотил черную команду, в которую взяли и Никиту. И эта команда, с одной стороны, подстраховывает четвертого номера, не подпуская к нему противников. С другой стороны, — устраняет всех «лишних» самыми разнообразными способами. В том числе и таким, с которым Максим только что столкнулся. Расчет с членами этой ублюдочной команды должен производиться из суммы, которую получит четвертый номер. Никита подписался на шестьсот штук. Сколько достанется остальным, он не знает. Но ясно, что большую часть призовой суммы захапает менеджер.

Когда Никита закончил, Максим протянул ему пистолет с одним патроном.

— За жену не беспокойся. Вытащу, — сказал он. — И без глупостей. Ты ведь знаешь, что моя реакция всегда была лучше. Ясно?

Никита молча кивнул и ушел в дальнюю комнату.

Время замедлилось, почти остановилось. Загустело, как не желающий выливаться из бутылки на морозе концентрированный томатный сок.

За окном заплакал ребенок.

В трубах зарокотала вода.

И стихла.

Наконец грохнул выстрел.

— Вот и все, — сказал Максим. — Одевайся.

Трансвестит, бледный, как перемазанная мелом смерть, вздрогнул.

— Не надо!

— Дурак. Пойдешь со мной. Будешь потом свидетелем.

— Зачем?!

— Не в суде, дурак. Должен же я отчитаться перед инвесторами, с какого бодуна я перебил всех этих скорпионов и отрезал яйца менеджеру перед его лютой смертью!

Максим пересек трамвайные пути, перемахнул через низенький барьерчик, отделяющий зловонный бульвар от смердящей выхлопным газом улицы. И решительно направился к дому с колоннами, впечатывая в дорожку каблуки своих массивных шнурованных ботинок. Менеджеру

оставалось жить двадцать минут. А охранявшим его дебилам с выползавшими из-под пиджачных воротников заушными проводками — и того меньше.

Рядом смешно семенит трансвестит в узкой английской юбке и с лицом, с перепугу размалеванным вкривь и вкось.

Со стороны это выглядит так, словно мужчина средних лет, знающий себе цену, выгуливает собачонку экзотической породы.

Сидящий на скамейке бомж, отхлебывающий из чудесным образом доставшейся ему почти полной бутыли крепкой «Охоты», думает: до чего же славный выдался вечерок!

Игорь Зотов
Декамерон
Серебряный Бор

Лицом Рябец походил на череп: худое, с глубоко сидящим белесым взглядом и чуть приоткрытым ртом — вечный оскал крупных желтоватых зубов. В школе за глаза и звали его Черепом, но в глаза опасались, кличку дали по фамилии — Ряба.

Теперь, когда он разменял шестой десяток, черепное сходство обратилось общескелетным: худоба и костистость.

За завтраком Рябец читает криминальную хронику в «МК»: пока размолотит ложечкой попку яйца, пока облупит, пробежит про пропавшую в тайге под Красноярском второклассницу; откусит-пожует бутерброд — про пьяного офицера, застрелившего солдата, отхлебнет глоток суррогатного кофе — про…

В заметке «В Серебряном бору работала частная тюрьма с пыточной камерой» написано, что менты задержали на улице среди бела дня голого бомжа в наручниках, с проломленным черепом и со следами побоев на теле. Бомж назвался

«Андрюхой» и успел сообщить, что его пытали в подвале «электричеством и клещами». Адрес прошептал: Вторая линия, 43. Смолк. Довезти «Андрюху» в 67-ю больницу не успели — умер в пробке, не приходя в сознание. Менты — по адресу, но тюремщиков и след простыл. Зато тюрьма знатная — три клетки и еще: электрошокер, щипцы, дыба, испанский сапог и прочая всячина. Два трупа — и тоже серебряноборских бомжей. Ведется расследование.

Рябец отложил газету, поглядел в окно — июль, марево, жара, духота. Покончив с завтраком, сложил в пакет «Marlboro» полотенце, плавки, три больших бутерброда с колбасой (тщательно завернул в ту же газету — протухнут), бутылку воды, бутылку портвейна «777», пластиковый стакан.

Рубашку с коротким рукавом заправил в брюки, на ноги — сандалии. Троллейбусом две остановки до Калужской, и в метро — до «Китай-города». Маршрут вспомнился сам собой, хотя в последний раз он ездил им еще в начале 70-х, когда «Китай-город» звался «Площадью Ногина». Пересадка — и по сиреневой ветке до «Полежаевской». Оттуда спросит.

В окне троллейбуса за эти годы не особо и из-

менилось: пыль-дома-тополя. Вот мост дугой, и слева тоже мост — с красными вантами, новый по всему. За ним река и Крылатские Холмы. Троллейбус нырнул с горки, остановился на площади. Рябец вышел.

Несколько улиц веером, заборы, за ними — сосны, высокие крыши дач. Рябец посмотрел направо — где-то здесь. Там пивная была, нет теперь пивной. Они тогда из пивной пошли на дачу. Он не пошел, он обиделся, он домой. Болт у него книжку забрал. Щелкнуло в памяти слово — «декамерон». Ну да — дождь ледяной-колючий сечет по пожарищу, в черной жиже каблуком поковырял — обложка обугленная, синяя, буковки витые, затейливые, Болта книжка… Осенью приезжал, перед армией. А как *туда* было не съездить?! Нет, потом.

Жарко, какой портвейн? — купил в киоске пиво и круто влево, в лес.

* * *

Рябец уже успел поспать. Здесь же, под ивой. Разморило пиво-солнце. Скорее дрема с быстрыми снами, в них плеск воды, детский визг, женский шепот насмешливый прямо над ним. Глаза приоткроет — никого, штиль. Закроет и по

новой — визг, плеск, шепот. И шуршание — пакет крадут?! Никого, дурман полный. Сел, солово глядя на реку, на белую церковь на том берегу — наискосок.

Внизу — ногу вытянуть — чуть плещет-переливается вечерняя вода. Музыка, смех, шашлычный смрад из-за забора на платном пляже. Стучит волейбольный мяч. Чуть ближе в шезлонге — женщина с книгой. Вид со спины: короткая стрижка, складки на шее, край очков, задница. Рябец лезет рукой в плавки, теребит, теребит — без толку. В душе киснет вялая злоба — поперся ведь в такую даль! За пол-Москвы, да что — за всю Москву!..

К женщине подходит другая — помоложе, склоняется, что-то говорит, — белая грудь лезет сдобой из голубого купальника. Рябец опять в плавки — мнет остервенело — ничего. И купол сияет назойливой насмешкой. Недобро косится на церковь, мнет, мнет. Краем глаза замечает, что сдобная за ним наблюдает — на лице помесь отвращения с любопытством. Вытаскивает руку — а просто почесался… Встает — плавки свисают сзади мешком — сковыривается с берега, шумно плывет. Вода не освежает — слишком тепла.

Рябец медленно курсирует вдоль берега, по-

сматривая за сдобной. Вроде и плевать — подумаешь, возбудился; но и неудобно тоже — козел престарелый.

Сдобная уходит, Рябец — к берегу. Вытирается, достает «777»: пить — не пить? Нет, сперва *туда.* Съедает бутерброд, еще раз глядит в газете адрес, одевается, уходит.

Сначала идет берегом, обходит пляжный забор, но сразу в молодом сосняке натыкается на голых мужчин — лежат причинами вверху. Рябец стороной, стороной, но дальше — новые нудисты, ловят солнце, растопырив руки. Пидоры — бормочет, забирая левее. Старается не смотреть, но невольно: заросли вдоль реки набиты голыми мужскими телами. Плюет: посреди ведь Москвы!

Сладострастно воображает, как взрывает тротил — гениталии по кустам ошметками — не собрать! Кровавая фантазия успокаивает, Рябец углубляется в лес, тропами выходит к Бездонке. Вечереет, толпы людей тянутся с берегов к выходу из парка. Рябец почти передумал навещать газетный адрес — устал, домой. Идет по Таманской улице, как слева на другой стороне замечает вывеску «Вторая линия». Стоит мгновенье и сворачивает — зря, что ли, ехал?

Улица неожиданно тихая — дачи за забором.

Башенки, портики, балконы. Словно и нет рядом полуголого, истомленного жарой люда. Ворота «№43». За ними — новый красного кирпича дом в три этажа. В таких, по представлениям Рябца, живут министры и олигархи. Впрочем, дом производит впечатление нежилого. Рябец как бы нечаянно толкает калитку — та подается с легким скрипом. Дом стоит на месте сгоревшей дачи, полянку за ним с полукругом высоких сосен Рябец узнал. Но тюрьма? Строительный мусор, рамы-двери в заводской упаковке, крыльцо недоделано. На двери желтая полицейская лента — стало быть, вот тюрьма.

Осторожно отцепляет ленту, открывает дверь: внутри полумрак, справа угадал лестницу. Нащупал на стене выключатель, и вниз. Точно — три клетки, сваренных из толстых прутьев. Перед ними стол, два стула, механизм, похожий на сварочный аппарат — менты поленились вытащить? На полу — бурые пятна, битое стекло. Пытали — чего не пытать?! Хе! Бомжи, человеческий материал, хе!

Рябец не задерживается — все как в газете — поднимается, гасит свет, выходит, прилаживает обратно ленту. От *той* дачи ни следа, словно не стояло… Домой.

Однако перед тем как выйти на улицу, решает взглянуть — освежить, где сидел-сторожил когда-то. Вон там, вон там… Постой, постой…

В кустах сирени за соснами, ровно в *том* месте, он замечает на земле фигуру. Позыв бежать гасит сразу: станет мент сидеть в кустах враскоряку! К тому же по всему — баба. Рукой машет. Он идет, оглядываясь по сторонам, нет ли кого еще? Есть — в ногах у бабы пес — голову поднял на Рябца.

— А выпить есть? — спрашивает она. — Ты кто?

Точно баба, и пьяная — из расстегнутой розовой кофты две кожистых складки сползают на живот. Ноги целлюлитные в белых носочках растопырила широко, Бездонка, хе!

Пока Рябец ее рассматривает, баба достает из пакета (точь-в-точь как у него — «Marlboro») бутылку (точь-в-точь как у него — «777»), запрокидывает и выливает в глотку немногую оставшуюся жидкость. Порожнюю посуду ногой в сторону.

— Командир, налей стаканчик! Видишь, ни глоточечка! А я жене твоей ничего не скажу — бля буду.

Лицо плоское, темное, щели глаз, шеи нет, все без формы. Бифштекс! — мыслит Рябец по-кули-

нарному.

Но и что-то неуловимо знакомое… Что?

— Ря-я-ба? Ряба-а-а! Рябец! Ты? Да ты, ты! — Баба встает на карачки, разгибается, поднимается навстречу колченого, точно на протезах. Пес — тоже, зевает, виляет хвостом.

Буратина! Ни хера себе — Буратаева!.. — вскрикнулось внутри.

Раскоряка обернулась эротической мечтой Рябца — Надькой Буратаевой, Буратиной, как звали ее в школе. Была в этой кличке точно насмешка над ее приплюснутым, отнюдь не буратиновским — полукалмыцким носом.

— А ты все такой же, Ряба, все такой… Только усох чутка, хи-хи-хи! Дрочишь по-прежнему?! — Буратаева в метре, Рябец чует ее кислый дух. — Чего стоишь? Наливай! За встречу! Не побрезгуешь с Надькой Буратаевой выпить? Сколько ж лет прошло? А? Уж тридцать, не меньше…

Рябец лезет в пакет, тащит бутылку и стакан, зубами — пробку, наливает, протягивает Буратине. Сам — из горлышка.

— Ну, рассказывай, где ты, что ты?

* * *

Рябец сидит под сосной напротив Буратины. Отголоски ее судьбы всплывают сразу: горела на пожаре, прыгала, ножки поломала, хребет отбила, лечилась долго, да за увечьями обнаружилась беременность. Мертвым, впрочем, родился. И покатилось. Содержали родители — пила, потом любовник (рецидивист) — пила, его посадили — пила, родители померли — пила, еще беременность — пила, выкидыш — пила, все продала — пила, квартиру тоже — пила, исчезла — пила.

— Это Полкан, — знакомит она.

Рябец кивает, собак на дух не переносит.

— Ты не ссы, Ряба, не тронет. Он с рождения с мной. Его Андрюха принес, еще щенком, вот та-акусеньким… Ты не представляешь, Ряба, как я рада тебя видеть! — Буратина икает.

И без связи с радостью:

— Пивную давно закрыли, еще при Горбачеве. И магазины позакрывали. За мост ходим, на Прибоя. Я, Ряба, тут уже лет десять живу — за Бездонкой. Теперь на Казанский поеду, на вокзал. Место, говорят, сытное — да хоть дыни с поездов разгружать у чучмеков. У вокзалов не пропадешь. А здесь — ни за грош.

— Почему? — Рябец вспоминает утреннюю газету.

— А не знаю!.. — разводит руками Буратина. — Все подевались. Вот и Андрюха. Обещал: мы, Надюха, на Казанский поедем, я тебя не брошу. И где Андрюха? Кирдык, хи-хи-хи…

— Чего хромаешь?

— Я хромаю?! Я чего хромаю? А чего я хромаю? Я знаю, чего я хромаю, знаю… Но тебе не скажу. Ни-ког-да!

И бормочет почти про себя: «Может, я — госпожа де Лавальер!»

— Слышь, Ряба, я хромаю, потому что я госпожа де Лавальер!

Если бы Рябец умел формулировать свои эмоции, получилось бы примерно так: «И эту женщину я вожделел когда-то? Ее? Я? Невероятно!» Рябец морщится.

— …я как жива-то осталась, не помню, Ряба. Я со второго этажа ка-ак гикнусь! Обе ноженьки поломала. А могла задохнуться. А они там все задохлись — и Алик мой, и Лидуха, и те двое, не помню, какие. А этот, жирный, который картинки с бабами носил…

— Болтянский?

— Во, Ряба, точно! Задохся…

И вдруг подмигивает:

— А ты почем знаешь?

— Что?

— То! А помнишь, как ты сох по мне, Ряба? Помнишь? Хи-хи-хи! Сох, сох, знаю! А я тебе не дала! Кому надо, дала, а тебе не дала.

Замолкает, принимается раскачиваться из стороны в сторону.

— А правда здесь тюрьма была?

— Точно — была!.. — и непонятно, спьяну болтает или всерьез. — Я тебе и сейчас не дам, ты не думай! Ты не смотри, что старая… Ты тоже — не орел. Ты — кощей. Тебя Черепом прозвали, помнишь?

Помолчала, и неожиданно:

— Андрюха вот пропал. И Кирей пропал, и Сабель пропал. Нас в трубе четыре, то есть вчетвером жило… Одна я теперь… Андрюха неделю как ушел, сказал — спирта притырит… Не притырил… Здесь страшно, Ряба. Вот Полкана куда? А? Его на вокзал не пустят. Может, себе возьмешь?

— Куда мне.

— Ну да — куда… Ты тоже, я вижу, портвешок попиваешь! Как в детстве. Что, не заработал на коньячок, Ряба? Ты кем работаешь?

— Поваром.

Буратина свистит:

— В ресторане?

— В столовке. В университете негров черножопых кормлю. Зато от дома — десять минут.

— И что ты им варишь?

— Да все варю, и гуляш, и гречку, и щи…

— А скажи, ты фуа-гра пробовал?

— Так то — название: гусиная печень. Чего ее пробовать, ее в рассольник, потрошки — в самый раз. А еще — огурчики чтоб плотные, лучше маринованные.

Рябец наливает Буратине.

— Со свиданьицем! — хлебнул из горлышка.

— Я тебе, Ряба, знаешь, почему не дала? Ты с виду сухой, а внутри — тьфу. Такой. Тебя наши девчонки не любили — у тебя взгляд, будто лапаешь. Глазами лапаешь, носом — спускаешь, хи-хи-хи! Вот Болт покойный тоже такой, но его жалко было — кто ж ему, жирному, даст? Он картинки срамные таскал, а ты ссал, только подначивал. Э-э-эх! Жаль Болта! И Месропыча жалко, хоть и гаденыш.

— Чего жалеть? Их все равно нет.

— И поди ж ты — ни одного седого волоска… — бормочет Буратина.

Как разглядела? — они сидят в полной темно-

те, уже и лиц не различая друг друга. Буратина курит, запах дешевой горечи. Рябец встал помочиться. Не стесняется.

— На могилку не нассы! — кричит Буратина.

Рябец молчит.

— Слышь, Ряба, а я вот подумала — может, я к тебе? Страшно мне, даже с Полканом (пес хрипло ворчит). Помоюсь… Ты ж один живешь? Мать-то с отцом померли?

— Померли.

— Уж не помню, когда в чистоте спала. Чего мне здесь? Андрюху-то убили! И Кирея… и Сабеля… А ты, Ряба, не женился?

— Нет.

— А чего? Прынцессу ждал? Или меня, хи-хи-хи! А, может, я тебе и дам сегодня, а Рябец… — журчит Буратина.

Порой не понятно — пьяна она или притворяется.

— Ты не ответил, Ряба, чего не женился-то?

— Женилка не выросла.

— Хи-хи-хи! У тебя-то? Ни за что не поверю! А под моим окном чем дрочил? Я помню…

* * *

— А первенький мой вон там лежит, — она кивает в сторону забора, где чернеет куст жимолости. — Как думаешь, косточки от него остались?

Рябец представляет себе полуистлевшие детские кости, возможно, похожие на куриные, — не на говяжьи же.

— Да нет, столько лет — какие косточки!.. Разве череп… Или берцовые, они толстые.

— Ты повар, тебе виднее. И второй рядом. Я его ночью прикопала, снег, помню, валил, ноябрь.

— Первого ты от Месропыча нагуляла? — Буратина кивнула-икнула. — А второй чей?

— Не знаю, я со всеми спала. Засну под одним, проснусь — другой жарит. Кобелям волю дай! А доченька — вот лежит, прямо здесь. Девять лет ей было бы… Налей, что ли…

Рябец плеснул в стакан, Буратина пьет жадно.

— Доченька от Андрюхи. Мы там жили, где теперь беседку построили. Труба у нас была из бетона, вот такая, — Буратина руками пытается обозначить диаметр, — мы в ней годков пять прожили. Или больше… С Андрюхой и с Сабелем, а Кирей, он потом прибился…

— Ты что же, там и рожала?

— А где ж еще, скажешь ведь! Андрюха нож на костре прокалил, пуповину отрезал. Я девочку, доченьку мою хотела *этим* подбросить, у кого дом побогаче. Думала — что хоть ей жизнь выпадет… Только померла она через неделю… Как раз, когда подбросить хотела. Андрюха питание ей детское носил, на Живописной у него в магазине кассирша знакомая, тетка добрая — бесплатно давала. И молоко, Ряба, и кашу… У меня какое молоко, сам знаешь… Девочка моя…

Буратина гладит рукой землю и плачет неслышно, так, что только по хлюпанью носа и понятно.

Шумы за забором стихли совсем, лишь изредка прошуршит невидимая машина.

— Хорошо было, Ряба, когда в трубе жили… Даже зимой, как во дворце! С одной стороны вход закопаем, с другой — тряпок понавешаем. Надышишь вчетвером — красота! Зал Чайковского! Только окон не было, да и на что? И менты не доставали: придут, посмотрят, уйдут. Лейтенант Бессонов такой был — пожилой уже, нос красный, пьянь. Покурить на костерок приходил, говорил, что в отставку выйдет, к нам переедет, хи-хи-хи! Только удочки из дома возьмет, а больше ему ничего не нужно — так говорил. Шутил, ментяра… Потом пропал. А менты озверели! Два раза под-

жигали — все мои наряды, Ряба, сожгли! Да что наряды — матрасы! Мы под мост перебрались, потом к церкви, знаешь — за мостом? А теперь, Ряба — все, пиздец!

Буратина шелестит, Рябец слушает.

— Еще налей, напьюсь я сегодня, как в последний раз, Ряба! Жизнь у меня горькая… А тут на Казанский ехать. Там небось свои порядки, там небось бляди вокзальные вершат!

* * *

— А ты думал — не знаю? Хи-хи-хи! Это ты дачу сжег, Ряба, ты! Бля буду, ты!

— Брось болтать.

— Ты меня всегда хотел, помню, как смотрел на меня, как под окнами ошивался — подсматривал! Хи-хи-хи! — Голос Буратины осип до полной почти неразличимости. — У тебя берет еще был, коричневый. Ряба в берете!

Рябец эти осенние вечера хорошо помнит: он действительно ходил под окна Буратины, благо жила та на втором этаже, высматривал — на окне-то лишь тонкая пелена тюля, а Буратина по комнате щеголяла в трусах — в белых, тугих. Перед сном рассматривала себя в оконном отражении — зеркала, что ли, не было? Груди свои

трогала, живот, бедра. Эти минутки были для Рябца главными. Он и не подозревал, что Буратина делала это для него — ночного соглядатая.

Буратина говорила правду — в школе Рябец глаз не спускал с нее, это все знали. Крался после уроков, уставившись на ее крепкие, кривоватые ноги, вожделел. И она, зная, дразнила — то ножку выставит в проход между партами, то прижмется как бы нечаянно грудью, то рукой нечаянно коснется *естества*... Дразнила его, и он в эротических видениях всякую ночь истязал ее изощренно, как только способна была юношеская фантазия. Порнографию, что исправно приносил в школу Болтянский, никто из одноклассников не усваивал так живо и буквально, как Рябец. Наутро приходил в школу серый с недосыпа, скучный.

После пожара он узнал, что Буратина выжила, лежит в больнице, беременная. Навестить ее побоялся. А вот пепелище навестил перед самой армией. Служил три года не пыльно — при гарнизонной кухне в Балтийске. Демобилизовался, пришел под родные окна — нет Буратины. Отец-калмык смотрит телевизор в соседнем окне, мать — хлопочет на кухне. Две недели ходил — темно. Поступил в кулинарный техникум, окончил,

попал в столовую, где и работает по сей день. Жил замкнуто, особенно после того, как один за другим умерли сильно пьющие родители. Не женился — как жить с чужим? Тешил природу (время от времени — в дни аванса и получки) вокзальными проститутками, которых после соития гнал. Знай они, что вместе с эякуляцией он едва сдерживал в себе желание их придушить, благодарили бы судьбу.

Потом перешел на самообслуживание, благо прогресс: такой коллекции порнофильмов, пожалуй, ни у кого в Москве не было.

* * *

— Болт лучше тебя был — просто жирный. Он под окном не дрочил, ко мне ходил честно — просил: дай, Буратиначка хоть разок, чего тебе стоит… Хи-хи-хи! Ко мне спускался, в одном подъезде жили, помнишь? — типа по биологии у него вопрос. (В биологии Буратина была умницей, хотела в медицинский поступать.) Придет, сядет, засопит, как кашалот… Книжку мне эту носил, как ее?.. Про итальянцев, которые истории рассказывают…

— «Декамерон».

— Во! Говорил, у родителей натырил. Вслух

читает, а сам ляжкой жмется… А воняет, Ряба, от него сладко, одеколоном — полфлакона на себя выливал, чтобы я дала. Я даже думала — может, дать? Чего парню маяться? Но решила — сперва Месропычу… Чтоб он меня это, распечатал, хи-хи-хи! А потом — поглядим-посмотрим! Кобельков много, правда, Полканище? — Буратина опять чешет псу загривок. — Я же блядь! Я бы и Полкану дала — да исцарапает животное, что с него взять, хи-хи-хи!

Рябец помнил, очень хорошо помнил. Помнил, как Буратина, единственная в классе на зависть другим девчонкам и к вящему недовольству Пичуги — их классной — носила ажурные колготки с рисунком, от которого у Рябы начиналось сердцебиение.

— А помнишь, Ряба, в той книжке историю, как одна ему свидание назначила в своем доме? Он приходит, а служанка: типа обожди пока, муж там… А сама эта с мужиком развлекалась. Этот-то на холоде всю ночь! Прямо как ты! Хи-хи-хи! А потом отомстил ей — на крышу, что ли, загнал… А?

Буратина берет бутылку и одним глотком допивает.

— Фу-у-у… Ладно, Ряба, один хер — ничего не воротишь… Ни Болта, ни Месропыча, ни Лиду-

ху… Остальных не помню… — Буратина валится вдруг, сперва на бок, потом ничком. — А тебе, Ряба, не дам. Хотела дать — да не дам… Спите, детки мои ненаглядные…

Руки ее гладят жесткую траву, стихают.

У Рябца болит голова. Он закрывает глаза. Надо бы вставать, поздно — не ночевать же здесь, на костях ее детей. Или врет, полоумная? Хотя нет, что-то и разумно говорила. Странный день — словно жизнь. А все газета. Мать не сдала, когда следак приходил. Он спросил: может, кто ссорился с Месроповым или с Болтянским, а то с Буратаевой? Из класса, может, кто мстил? Или просто по пьяни-хулигани? Всех выспрашивал следователь — к кому-то приходил, кого вызывал… Потом решил: случайность — окурок. И то — сушь какая стояла! Как теперь. А то и суше. Торф горел, точно. Дым. Люди кашляли.

Треск, боль, горячо! Рябец раскрывает глаза — Буратина, рука задрана, в руке бутылка — хищный отблеск луны на разбитых краях. Убьет! Он вбок, Буратина падает — скрежет — розочка вонзается в песок.

— Сука, — свистит он, вцепляясь руками в ее плечи, прижимая ее к земле. — Убить хотела?

Буратина молчит, мгновение ее спина под

руками Рябца напряжена, вдруг обмякает. Он упирается в нее коленями, переместив руки на шею. Кровь капает черными каплями на ее волосы. Пахнет свежей мочой. Нащупав щитовидный хрящ, он давит, давит его с обеих сторон, живо представив себе анатомию тихий свист, как из велосипедной шины, и молчок. Тень Полкана в стороне виляет хвостом, поскуливает: Надя, Надя!

* * *

— Ты не читал «Декамерон»?! — воскликнул Болтянский.

Болтянского Рябец не любил: что толстый — полбеды, вот руки маленькие, липкие, ногти ухоженные — это да. Ко всему, Болтянский таскал в школу порнуху — тусклые, многажды переснятые фотографии. Пышногрудые девки с сероватыми телесами (следствие пересъемок) оседлывали мускулистых мужиков. Или же подставляли пухлые зады. Или же растягивали губы. Стоило взглянуть, и точно по полу растаскали клубничный джем.

Болтянский показывал фотки из рук, держал цепко розовыми пальчиками. Если для других просмотры стали привычным развлечением, то

для Рябца иначе. Липкое ощущение переродилось в ужас женского прикосновения, будь то рука, локоток, нечаянная грудь или невинные волосы. Даже материнская ласка, по счастью, крайне редкая, отвращала: стоило подвыпившей Прасковье Федоровне провести рукой по его волосам, нутро сжималось и тошнилось.

— А еще «Озорные рассказы». Это Бальзак, — проповедовал Болтянский, они шли из школы.

— Дашь почитать?

— Завтра принесу. «Декамерон» принесу, Бальзака — нет. Бальзак у нас в собрании — предки заметят — не велят книги давать. Да «Декамерон» лучше Бальзака. У Бальзака один прикольный рассказ, как он женщиной переоделся, чтобы ее выебать. Ну в смысле — подружиться сперва, то да се, а потом — выебать. А в остальном — скука. «Декамерон» интереснее.

«Декамерон» Болтянский принес — толстый синий том с изящной вязью названия, и срок объявил — две недели. Рябец полистал желтоватые страницы и отложил. Начинались выпускные экзамены.

* * *

— Ты прикинь, только с нее слез — звонок! Она к двери, кровищу оттирает, перепуганная — кто там? А Болтянский: это я, Надь. Она: о, черт! чего тебе?! А он: пойдем погуляем? Ха-ха-ха! — Месропов чуть не валится от хохота. — Не, ты прикинь: погуляем!

— А она что? — сухими губами Рябец. Они с Месроповым стоят во дворе школы. Выпускной вечер начнется через полчаса, все уж на взводе, уже вполпьяна делятся новостями.

— А что она — чуть со смеху не покатилась. Ну, я сзади подкрался, пока она с ним через дверь говорит, и вдул по первое число! Видел бы Болт, чем мы в десяти сантиметрах от него занимаемся!

Месропов еще полгода назад поклялся, что перед выпускным вечером «сломает целку» какой-нибудь из одноклассниц. Красавец жгучий, волоокий, девочки от него без ума.

— Только кончил, он опять: Надь, а Надь (Месропов передразнил скрипучий голос Болтянского), пойдем погуляем… Ну я дверь распахнул!.. как был, без трусов, в майке! И гондон в руке болтается — лови! Болт глаза выпучил и бежать! Ха-ха-ха!

— А она? — быстро дышит Рябец.

— Кто? Надька? Надька хороша, Ряба, хороша — подмахивает как надо! Полдня сегодня с ней кувыркались, фу-у-у! Чуть на ногах стою… А то едем завтра в Серебряный Бор, Ряба? У Надьки подруга Лидуха — маленькая, а титьки во-от такие! Я бы с Лидухой, но Надька… Там хорошо, в Бору. Не был? Кустов — завались!.. «И под каждым ей кустом был готов и стол и дом!..» Ха-ха-ха!

Подошли еще одноклассники, и Месропов принялся пересказывать свое приключение.

— А Болт мне «Декамерон» дал почитать, — говорит Рябец, когда тот закончил.

— Что-о-о? «Де-ка-ме-рон»? Ну, ты даешь! Детский сад этот «Декамерон». Ты «Луку Мудищева» слышал? Весник исполняет. «Весь род Мудищевых был древний, имел он вотчины, деревни и пребольшие елдаки!..» Приходи, поставлю! «Декамерон», ха! Детский сад, Ряба, детский сад!

— Все от воображения зависит, — веско вставляет интеллектуал Трегубов. — Иных и замочная скважина возбудит… А по мне «Декамерон» очень ничего. Кватроченто, пир во время чумы… Италия! Это не Русь. Там не девушки — синьорины! Не сосны — пинии!..

Трегубов знает, что говорит: в свои неполные

семнадцать он единственный в классе бывал за границей, как раз в Италии жил. Отец его работал в советском консульстве в Риме.

— Пинии? Это что-то типа минета? — Месропов.

— Нет, амиго мио — это средиземноморская сосна. Небо — чистейшая лазурь! Море! Солнце!

O sole mio

sta 'nfronte a te!

O sole, o sole mio

sta 'nfronte a te!

sta 'nfro-o-o-onte a te-e-e-e! — поет Трегубов, срываясь на фальцет.

— Карузо недорезанный! — с уважением Месропов.

Во двор входит Болтянский в черном костюме, узком черном галстуке. Черные волосы зачесаны назад, намазаны, блестят. Увидев Месропова, чуть сбивается с шага, щеки расцветают алыми пятнами.

— Эй, пиния, — кричит кто-то, — пойдем, погуляем?!

Дружный хохот.

* * *

На ночь Рябец в школе не остался, получил аттестат, ушел. Когда спускался из актового зала, его догнал Болтянский.

— Уходишь?

— Тебе-то что?

— На танцы не останешься?

— В гробу видал.

— Книжку когда вернешь? Родители спрашивали. Прочел?

— Не до конца — экзамены. Завтра дочитаю, я быстро.

Мимо поднимается Буратина, — напудренные щечки, высокие каблучки, короткая юбчонка, кружевные колготки, и по всему подшофе — странно хихикает. Поравнялась с приятелями — Болтянский облизывается. Еще три ступеньки вверх и останавливается.

— Ряба, выпить хочешь? Ребята в спортзале, у них осталось.

— Не, я домой. Голова болит.

Рябец глаз не оторвет от Буратининых ног. Она улыбается.

— Да-а-амо-о-й… — тянет насмешливо. — К маамке… А то приезжай завтра в Серебряный Бор.

На Третий пляж. Знаешь? Мы купаться, часов в пять-шесть, как проснемся. У подружки моей, Лиды, там дача, предки сваливают — так что…

— Хорошо, — хрипит Рябец, и вниз.

— А ты что? — слышит насмешливое, обращенное к Болтянскому. — Гулять хочешь? Хи-хи-хи!

* * *

Болтянский позвонил часа в четыре:

— Едешь? В Серебряный Бор. Забыл?

— Далеко.

— Да чего — можно остаться. У Надькиной подруги там дача.

— Не знаю, может, и поеду…

— «Декамерона» возьми, мне предки плешь проели.

— Ладно, — Рябец кладет трубку.

Следом неожиданность: Буратина! Звонит! За все десять лет, что они проучились в одном классе, это впервые!

— Ряба, привет! — голос сдавленный, будто слезы сдерживает. — В Серебряный Бор поедешь? Меня возьми.

Сердце Рябца колотится: радость! Но и страх: вообразив Надю в купальнике, он не представляет, как быть ему? — плавки-то топорщатся!

— Ладно…

— Тогда я зайду? Через часок?

Рябец кладет трубку, бежит в ванную. Он решает, что если сделать *это* несколько раз, то, может, и обойдется… Долго вертится у зеркала — прыщик припудрит маминой пудрой, волосы зачешет то назад, то на пробор; то рубашку сменит, то рукава на ней закатает, то раскатает. Еще? А вдруг она войдет, он ее поцелует, она ответит, и…

Звонок. Не в дверь — телефон. Она.

— Слышь, Ряба, я тебя на остановке жду. А то приду, а ты меня изнасилуешь! Ты на меня вчера *та-ак* смотрел! Хи-хи-хи!

О-о-о!..

Рябец хватает сумку с полотенцем, кидает туда «Декамерона» — вспомнил вдруг, выбегает на улицу.

На Наде желтая кофточка, верхние пуговки расстегнуты, там грудь. Ну и мини. Лицо помято: пила-гуляла всю ночь, на шее сзади пятно — засос? Глаза, и без того полукалмыцкие, подзаплыли — обильная тушь на ресницах это подчеркивает. Духи — за версту. Рябец глядит, и радость вперемешку с ужасом пузырятся внутри.

Едут долго: троллейбус, метро, пересадка, метро, троллейбус. Рябец ловит на своей спутнице

взгляды — похотливые мужские, сморщенные женские.

Рябцу никак не понять, почему она не с Месроповым? Загадка. С Месроповым — резон, Месропов и на такси отвезет. До самого пляжа. У него родители — богатющие!

Троллейбус переезжает мост, за которым сосны, сосны. Пинии.

— Лидуха во-он там живет, — показывает Надя в окно: среди вековых сосен высокие зеленые и голубые дачи с башенками. — К ней после пляжа пойдем, вечером. Предки ее на гастроли валят. Пойдешь?

— Можно, — мычит Рябец.

Выходят. Рябец держит сумку впереди, а как?

Идут по дороге мимо высоченного забора.

— Кто здесь живет? Артисты? — спрашивает он.

— Шишки, дипломаты, артисты тоже. У остановки видел за забором японский флаг?

— Везет… В Москве, а как бы в лесу.

Надя пожимает плечами.

Сворачивают с дороги, идут среди сосен по песку. Надя снимает туфли на высокой платформе. Рябец чуть отстал. Ну, решайся! — стучится в мозгу. — Она же нарочно в лес, нарочно!

Кладет руку на Надино плечо. Девушка останавливается.

— Ты что? — руку убирает.

— Я… я, — роняет сумку, пытается обнять ее, тычется лицом.

Она уворачивается:

— Ну-ну, балуй — здесь же людей полно!

— Я… я… просто… тебя… поцеловать…

— Поцеловать! — она быстро чмокает его в губы. — Вот! Потом, потом…

— Когда? — хрипит Рябец.

— Ну, вечером, кто ж днем — и целоваться?!

* * *

Месропов уже на пляже в компании. И Болтянский тут. Остальные незнакомые, чернявые, гортанные, соплеменники Месропова. Появление Рябца и Буратаевой встречают радостно — наливают армянский коньяк. Рябец не пьет — нюхает, отставляет. Во-первых, он еще никогда не пробовал ничего крепче новогоднего шампанского, во-вторых, он злится: Надя — единственная девушка в компании. Идет купаться. Плавает долго, следит за ней. А та уж и повизгивает, и похохатывает, и ее уже лапают. И Месропов, и друзья его. «Суки, суки!..» — кричит он, погружая голову в

воду — чтобы и не слышно, и в полный голос.

Играют в мяч, прыгают, бесятся. Рябец сидит на топчане и злится. Потом бредут на Круг в пивную. Месропов с Буратаевой — сзади в обнимку. Рябец озирается. Он не подходит к Буратине ни в пивной, ни позже, когда заявились наконец на дачу к Лидухе — маленькой брюнетке с цепкими глазками. Она встречает гостей на крыльце. Месропов целует ей руку, и в этот момент Буратина вспоминает о Рябце, озирается. Он стоит в калитке.

— Идешь, что ли?

— Нет, я домой.

* * *

Он убьет ее, эту сучку, убьет.

Рябец сжимает сухие кулачки.

Смех из окна на втором этаже:

Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо-хо! Хи-хи-хи-хи!

Этот последний — ее.

Рябец щупает шершавую стену — сухая, будет гореть так, что мама не горюй!

Первое — бензин. Не проблема. Машина у ворот.

Второе — шланг. Где шланг? Вот — дохлым ужом на сухой траве. Все сухо, сухо. И смех, смех. Пьяный, наглый. И музыка. И кто-то блюет.

Третье — бутылка. Вот банка под крыльцом. Даже две. По литру. Отлично!

Зубами, зубами Рябец отгрызает кусок — примерно с метр — черной плоти шланга-ужа. Вот-вот, вот-вот. Отвинчивает крышку бензобака. Теперь соси, ха-ха, соси! Едкий пар, еще, еще… До рвоты. Еще, ну, еще… Эро-тич-но! — сказал бы Болтянский. Его, Болтянского, смеха не слыхать, небось дрочит в коридоре… Ему тоже ни хера не достанется!

Полилось! Сперва в глотку, потом в банку. Литр. Льем. Еще литр. Все, больше не сосется. И хватит. Сушь такая, без бензина займется.

Теперь ждать. Накрыть банки да хоть полотенцем, чтоб не испарялось, и ждать-ждать-ждать.

Рябец отходит от дачи, садится спиной к липкому сосновому стволу. Ждать. Хорошо, собаки нет. Нет собаки.

Рука Рябца ужом в штаны… Нет, нельзя. Кончу — расслаблюсь. Нельзя — три года только о ней и думал. Руки прочь!

В окне ее короткая стрижка. Курит, пепел стряхивает как раз туда, где он только что стоял. Оп! — окурок летит пьяной звездочкой, опускается возле его невидимых ног. Тлеет. А мог загореться. Мог. Отлично. Ушла. Месропов вчера

сказал, что ее подругу хочет. А ее — кто? Эти? Чучмеки? Сука.

Не ревность — справедливость! Как в «Декамероне»: она его во дворе зимой мурыжит, а сама с другим тешится. Италия. А еще про то, как жена мужа заставила в бочку залезть, чтобы изнутри проконопатить. Сама стоит, указывает, что да где… а сзади, хе! к ней другой пристроился. Веселые люди! А этот, что глухонемым притворился в женском монастыре? Вот жизнь!

Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо-хо! Хи-хи-хи-хи!

* * *

Когда ж угомонятся? То коньяк, то пиво, то коньяк! Как домой? Как? Троллейбусы перестанут. Метро перестанет. Матери позвоню. Или не надо? Вот блин! Улика! Мать спросят: когда ваш сын домой пришел? А она?

Тьфу — опять полез! Не надо, домой вернешься — дрочи, сколько влезет. Сколько вылезет, ха-ха.

Тсс… Свет погасили. Легли? И Болт? С кем? «Тихо сам с собою…» Атас! Дверь на террасе скрипнула. Рябец вжался в ствол, подобрал ноги. Тень от соседнего куста скрыла его. Шорох. Лидуха грудастая. Месропов. Остановились, шепчутся.

— Я без них не стану. Куда она их бросила,

дура?

— Да сюда куда-то. Темно, где искать? Я осторожно, обещаю.

— Вы обещаете, а нам расхлебывать!

— Давай без них, клянусь — я осторожно!

— Ага, а потом ты с Надькой?!

— Что ты, в самом деле! Я ж ее не звал, ты звала. А мы с тобой завтра хоть весь день, а? Родители когда приедут?

И лапает ее, чучмек, лапает Лидуху. На землю валит, юбку задирает, декамерон проклятый!

Рябец таращится на соитие силуэтов. Хочется выйти и… ногами, ногами! Но терпи, жди и терпи. Лидуха слабо вскрикнула. А Рябец замечает — из окна выглядывает она. Профиль ее милый, глаза ее степные. Значит, видит все и не уходит! Почему, почему? Месропыч отвалился. Как клещ. Надя прянула, исчезла.

Встали, отряхнулись, ушли. Дверь закрыли. На ключ. Очень хорошо. Ждать.

Рябец, пригнувшись, перемещается к дому, на то место, где недавно была парочка. В траве что-то слабо белеется, — презервативы! Две пачки, перехваченные резинкой. Кто бросил, зачем?..

* * *

Рябец стоит за пилоном моста, смотрит. Едва различимые еще минуту назад сполохи уже зримы, уже яростны. Пинии пылают, пинии! Как свечи!

Стоит и смотрит. Еще минут десять — и зарево. Вот мимо — две пожарные машины. И «Скорая». Поздно.

Спускается к улице Новикова-Прибоя, отыскивает телефонную будку, опускает двухкопеечную монету, крутит диск. Мать отвечает не сразу, мычит нечленораздельно, Рябец облегченно — пьяна. Если пьяна, значит, отец и подавно, уже спит. Можно не торопиться.

Один на весь монастырь — это ж какая сила! Как у Месропыча. У Зинаиды Леонидовны, литераторши, Болтянский спросил как-то про «Декамерон»: читала она или нет? Эта дура очкастая разоралась: дескать, кто вам разрешил *такие* книги читать?! А Болтянский ей: так там же написано в предисловии, что это классика! Классика?! — заорала Лимонадиха, — я тебе, Болтянский, такую классику задам! Небось только об *этом* и думаешь! И невдомек тебе, что «Декамерон» — это прежде всего анти-клери-каль-ная

книга. Она против церкви, а вовсе не про *это*! К доске, Болтянский, расскажи мне про образы коммунистов в романах Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина». Единицу сразу ставить? Родителей ко мне завтра! А что, и Бальзака тоже нельзя читать, Зинаида Леонидовна? — это уже Трегубов, отличник. На него Лимонадиха орать не посмеет. Что Бальзака? — прикинулась. «Озорные рассказы», Зинаида Леонидовна! Она густо краснеет, снимает очки, надевает очки: сегодня мы продолжим изучение романа «Поднятая целина». Откройте тетради…

Рябец забрался в подъезд, забивается под лестницу. Часа три можно здесь, в углу, а там троллейбусы пойдут. И метро. Не рыдай, людей разбудишь, не рыдай.

Глеб Шульпяков
Двойник
Замоскворечье

Жил-был в Москве актер. Много лет играл в знаменитом театре, мелькал в сериалах. Считался известным, хотя в народные любимцы не выбился. И нисколько не переживал по этому поводу. Когда-то давно, лет двадцать назад, ему выпало сыграть небольшую, но яркую роль в знаменитом фильме про революцию. С тех пор он и успокоился. Решил, что с него хватит. Что в историю кинематографа он уже вписан.

После фильма его много лет узнавали на улицах. Но без ажиотажа, без вытаращенных глаз. «Смотри-ка, этот идет, ну, как его…» И дальше называлось имя персонажа. Поскольку настоящей фамилии актера никто не помнил.

Много лет он жил один в холостяцкой крошечной комнате. От театра, в сталинском доме на Павелецкой, в Замоскворечье. Несколько раз администрация театра предлагала ему переехать на другую сторону реки, поближе к работе. Но актер всякий раз отказывался. Ему нравилось

жить здесь. Он давно полюбил таинственную тишину воскресных улиц; в покосившихся особняках ему все чаще мерещилась жизнь, чужая и давно минувшая; по вечерам, когда он гулял в переулках, ему казалось, что эта жизнь не кончилась сто лет назад, а все еще теплится — там, за пыльными стеклами, за облупленными деревянными ставнями. Ему были по душе жители этих улиц, смешные и доверчивые, знавшие друг друга по именам, всерьез обсуждающие на остановках слухи о маньяке с шоколадной фабрики или о том, что в заброшенной церкви у метро собирается секта и они пожирают книги, старинные церковные. Что в угловом доме с ротондой открыли тайный дом свиданий с невероятными, фантастическими услугами.

Ну и так далее.

Сюда, в Замоскворечье, к нему приезжала дочь, из Германии. Наводила порядок в комнате, набивала холодильник продуктами. Привозила лекарства от хронического насморка. Фотографии внуков, близнецов. И уезжала еще на год.

Фотография отправлялась в общую пачку, где хранились письма от зрителей и те же близнецы, только годом раньше. Перед тем как убрать карточку в стол, он разглядывал одинаковые лица,

с удивлением и брезгливостью угадывая сквозь германскую фактуру черты своих предков.

Его хобби, страстью были телескопы. Подзорные трубы. Он собирал их сам, своими руками — после спектаклей или с утра, если не было репетиций. По журналам и пособиям вычислял углы и радиусы. Расстояния. Высылал список дочери, и та привозила превосходные немецкие стекла. Он монтировал их в корпус, изготовленный театральными слесарями (слесари в театре его почему-то особенно любили). Так на свет появлялась труба на треноге. И он приближал к Москве небесные объекты еще на некоторое расстояние. Очень, надо сказать, условное.

Что можно увидеть на мутном московском небе? Где только луна, да и та с трудом пробивается к зрителю? И все-таки сразу после спектакля он летел на Павелецкую. Если ночь была более-менее ясной, садился на широкий подоконник перед форточкой (отсюда насморк), наводил на резкость. Если нет, раскладывал на полу карты. Вычислял благоприятные дни и сегменты неба, в которых появится созвездие.

Так он и жил, из года в год. Ездил на съемки и гастроли, по фестивалям — в Сочи и Выборг. Завел любовницу, флейтистку из театрального

оркестра. И наведывался к ней в общежитие на Грузинской улице. Но в основном проводил время между театром и звездами. Пока, наконец, не случилось вот что.

Однажды мартовским утром он отправился в прачечную. Как это делал по субботам, раз в две недели — сдать белье и рубашки. Заведение находилось недалеко, две остановки на трамвае. Поскольку транспорта в Москве по выходным не дождешься, а погода стояла солнечная, он решил пойти пешком. И совсем уже развернулся, как вдруг, трезвоня и грохоча, от вокзала подскочил трамвай.

Просто вынырнул из потока машин и распахнул двери.

Делать нечего, судьба. Повезло. Он забрался в конец вагона, поставил сумку с бельем между ног. Осмотрелся. Вагон шел пустым, только впереди сидел мужчина в дубленке да бабка с внуком. А больше никого не было. Вагон тронулся, мимо поплыли сырые комоды особняков. Где-то ударили в колокола, начался субботний перезвон. Актер закрыл глаза и представил, что они едут по старой, дореволюционной Москве. Как в какой-нибудь повести Ивана Шмелева или в пьесе у Островского. «Сто лет назад колокола,

наверное, звонили точно так же», — решил он, открыв глаза. И увидел, что мужчина в дубленке стоит у дверей, готовится выйти.

Его профиль показался знакомым, и актер с умилением подумал, что раньше, в позапрошлом веке, здесь тоже все друг друга знали.

Спускаясь по ступенькам, мужчина обернулся. Они встретились взглядами.

Актер ахнул. Он увидел, что мужчина у дверей похож на него как две капли воды.

И что, в сущности, перед ним стоит он сам — только в другой одежде.

От удивления актер выпустил сумку, и на грязный пол вывалилось полотенце. Когда вещи удалось запихнуть обратно, двери уже захлопнулись. Двойник исчез. Актер бросился к окну, но стекло оказалось заклеенным цветной пленкой. Сквозь лицо рекламной дивы ничего не было видно. Тогда он дернул форточку, высунулся. В глаза бросилась огромная вывеска «Золото», желтая церковная ограда. Тот, другой, стоял на углу переулка и смотрел на актера. И снова с пугающей ясностью он увидел себя.

Свое, до отвращения знакомое по фильмам и плакатам, лицо.

Казалось бы, ну и что? В Москве и не такое

может случиться. И все же мысли о двойнике не давали ему покоя. Сначала он гнал их, досадуя на глупость. Пытался шутить над собой, смеялся. Вспоминал фильмы, где такой сюжет много раз встречается. Но ничего не помогало. Образ двойника оказался назойливым, неотвязным.

«А что, если это мой брат-близнец? Время-то было послевоенное… Неразбериха… Ехали в Москву из эвакуации… Мать говорила, на руках был грудничок, и что не довезла, умер… Или потерялся?»

«Вот и дочка моя родила близнецов…» — вдруг приходило на ум.

«Да нет, не может быть…»

Он садился на кровати, пил из графина воду. С волнением разглядывал волосы на голых ногах. А потом доставал фотографии внуков, сравнивал. И с каждой ночью ему казалось, что они похожи на него все меньше. Потому что все больше напоминают того, в дубленке. Из пустого трамвая.

«Значит, — думал он, — на улицах его узнают. Должны узнавать! Спрашивают, как дела. Просят автограф. Предположим, он честный человек и говорит, что вы ошиблись. А если нет?»

Он отчетливо представлял себе, как тот, другой, приходит вместо него в театр. Наведывается к флейтистке. И бросался на кровать, рычал от

ярости в подушку. Но скоро сквозь беспомощную злость стало проникать другое чувство. Пустоты, полной выхолощенности. Равнодушия. Что-то похожее он испытывал только после трудных спектаклей в театре. Когда роль сыграна, но до конца не понята. Не прожита. Ему казалось, он это пальто, которое сунули на вешалку. И что оно висит там, в темноте, забытое и никому не нужное. Мертвое. Он щипал себя, дергал за волосы. Хватался за телефон. Но кому было звонить?

«Не в милицию же…»

С тех пор жизнь его стала понемногу переходить на новые рельсы. Он перевел подзорную трубу с неба на остановку. Часами следил за людьми, которые на ней толпятся, в надежде встретить того, в дубленке. То и дело без надобности спускался вниз, в магазин. Нарочно толкался перед прилавком, чтобы его узнали и поздоровались. А если не узнавали, начинал нервничать, паниковал. Слонялся без цели по району, вглядываясь в лица, и каждый раз ноги заносили его в короткий переулок с желтой церковной оградой и вывеской «Золото». Где исчез его близнец, незнакомец.

Но никакого близнеца ни там, ни здесь не было.

А еще ему перестали звонить из театра. Напоминать про спектакли, вызывать на репетиции. Как будто забыли или уволили. Однажды он набрал сам, но на том конце провода его не узнали, ответил чужой голос. Он испугался и повесил трубку. С тех пор не звонил, боялся. Просто спустя неделю взял машину и съездил в центр. Прошелся вечером вдоль театра.

Под вывеской «Сегодня» в афише был заявлен его спектакль.

«Значит, самозванец уже занял мое место».

С облегчением и каким-то злорадством актер сел в кафе и стал пить. Хотя бросил это дело давно, после сердечного приступа десятилетней давности. Коньяк, пиво, водка — заказывал без разбору. Жадно, без закуски, пил, глядя между рюмками на перетяжку за пыльной витриной. «Твоя кровь спасет жизнь», — призывала с плаката рекламная девушка. И улыбалась целлулоидной улыбкой.

Как он оказался дома, не помнил. В памяти мелькал прокуренный подвал на Новокузнецкой, и косматые тени, с которыми он глотал водку, горланил песни.

Свалился в одежде, но уснуть не мог, потому что ныло сердце. Подтянув колени к подбородку, он лежал и слушал, как в голове звучит одна и та

же фраза. «Твоя кровь спасет жизнь», — твердил ему чей-то голос, тихий и бархатный.

«Твоя кровь спасет жизнь».

Стоило ему задремать, как темная, обволакивающая тошнота накатывала на тело. Поднималась, как вязкая жижа, заливала сознание. И сердце превращалось в надувной шарик, который вот-вот разорвется, лопнет. «Вот, значит, как умирают», — думал он, поминутно теряя сознание. Проваливаясь в безвоздушный колодец — и выныривая обратно, во тьму бессонной ночи. На рассвете, очнувшись на мокрых от пота простынях, он перебрался в кресло. Согнувшись от боли в сердце, просидел в нем, пока не рассвело.

Около одиннадцати его разбудил телефонный звонок. Звонили из театра, который, оказывается, только вчера вернулся с гастролей. Помощник режиссера напоминала, что сегодня вечером спектакль. «Ваш бенефис», — кокетничала. «Но как же…» — он мычал в трубку. «Это новенький гардеробщик перепутал, — тараторили на том конце провода. — Вывесил вместо „Завтра“ табличку „Сегодня“. Репетируем танец за час, как обычно!» И вешала трубку.

Стоя под душем, он приходил в себя. Удивлялся, как быстро, по одному звонку, исчез кошмар, ко-

торый мучил столько времени. Просто отклеился, как рекламная пленка от упаковки, и улетел по ветру. Протрезвевший, бодрый, он устроил в квартире генеральную уборку. Вымыл пол и окна. Белье, лежавшее в углу с того дня, сдал наконец в прачечную. Впервые сам позвонил дочери.

«Представляешь, какая чепуха!» — говорил, посмеиваясь и поеживаясь, в трубку.

«Уехали на гастроли, а у меня как из головы вылетело!»

«Как все нервны!» — по-чеховски вздыхала дочка, и было слышно, что она имеет в виду кого-то другого.

«У шотландцев это называется Fetch, встретить своего двойника», — говорила на прощание.

«Я пришлю таблетки, это поможет».

Вечером давали спектакль. И, говорят, он сыграл Цезаря, как никогда прежде. Зло и напористо, отчаянно. Так что перед овацией, когда император уходит в вечность, несколько секунд висела пауза — как в старые времена, когда зритель верил в то, что происходит на сцене.

Возвращаясь домой, он не чувствовал обычной усталости. Наоборот, по венам бежала кровь, переполняли силы. Он даже отпустил такси и пошел домой пешком, широко размахивая руками.

Новая жизнь, думал он, обязательно начнется с этого вечера. Она будет удивительная и спокойная. Непредсказуемая и ясная.

Непохожая на ту, которую он прожил.

Он вошел в квартиру. Не раздевшись, стал бродить по комнате. Не пойти ли ему снова на улицу, думал он, не подышать ли воздухом? Не познакомиться ли, черт возьми, с какой-нибудь женщиной, пусть даже вокзальной? Сходить в кафе, в кино?

Он выглядывал в окно, смотрел, как упрямо и бесконечно идут по кольцу машины. Взгляд его падал на подзорную трубу. Та указывала на остановку, как раньше. И, потирая ладони, он победно наводил на резкость.

В объективе топтались два сутулых подростка, беззвучно сплевывали под ноги. Он подвинул трубу еще на миллиметр и увидел рядом с подростками мужчину с портфелем.

Близнеца, своего двойника. Того самого.

…Когда он выбежал на улицу, подростки пытались вырвать из рук мужчины портфель. По асфальту катилась пустая банка. Мелькнула рука, раздался глухой чавкающий удар, двойник схватился за лицо.

«Эй!» — закричал актер через улицу. — «Вы что

делаете!»

И сделал шаг на мостовую.

Ударом машины его несколько раз развернуло в воздухе. Он упал и, покатившись по асфальту, замер, раскинув руки.

Сквозь темную жижу, которая теперь уже навсегда заливала его сознание, он успел увидеть, как двойник в дубленке убегает по переулку. Потом по его телу прошлись чьи-то руки, и он подумал о флейтистке, как она его раздевала, ласкала и трогала. Но эти руки были другими. Быстрыми и неловкими, мужскими. Они сунулись в карманы, сняли часы. Потом их брезгливо вытерли об рукав его плаща.

«Гля, как похож, чудила, — раздалось над ухом. — Одно лицо».

Послышался плевок, шелест трикотажа. Последнее, что он увидел, были две пары стоптанных кроссовок, которые стремительно удалялись по улице.

Часть 3
Отцы и дети

Максим Максимов
Папа любит меня
Перово

Ученики не любили ее. За то, что она не была молодой, красивой и веселой. За то, что она не была другой. Или ее ненавидели за что-то совсем другое. Мало ли за что люди любят ненавидеть друг друга…

Хотя она, как и все ее коллеги по человечеству, на девяносто процентов состояла из воды, та вода была не питьевая, что в противном случае могло бы, хотя б отчасти, повлиять на формирование симпатии к ней в глазах не только учеников, но и прочих окружающих.

Папа назвал ее Данайей. По паспорту она была Данайей. Для учеников и сотрудников она была Даной Иннокентьевной, преподавательницей русского языка и литературы.

Ученикам она отвечала взаимностью, но не потому что сочла нужным ответить на ненависть ненавистью, а просто потому, что так уж совпало: ненавидели ее и она ненавидела тоже. Чистое совпадение направленных друг на друга эмоций

(если допустить, что ненависть — это эмоция).

Стало быть, учеников она ненавидела — как в детстве ненавидела комки в каше. В сущности, они и были комками в общей неудобоваримой каше бытия. Да и сама Данайя воображала себя комком — большим, рыхлым, лежалым. Правда, завучиху Гаврюшкину Данайя ненавидела, как рыбий жир вкупе с вареным луком. Но старалась притворяться любезной. И чем лучше она притворялась, тем сильней ненавидела — учеников, сотрудников, разодетую бабу, стоящую впереди нее в очереди к кассе супермаркета, да, да, эту бабу с тележкой, наполненной разрекламированными полуфабрикатами.

Иногда Данайя с горечью размышляла: «Почему всех этих мелких гадов не берут в заложники террористы? Почему их не взрывают? Почему серийные убийцы проходят мимо завучихи Гаврюшкиной и этой бабы с полуфабрикатами?»

Данайе Караклевой было сорок семь. Она знала, что больше уже ничего не будет. То есть мечты сгниют нераспечатанными. Все кончено. Все подарки, которые она могла получить, она получила. Ее просто привели в этот выдающийся, овеянный дыханием изнасилованного космоса секонд-хенд, сказали «выбирай» и заперли в нем

— в секонд-хенде, где уже все было разобрано. И в секонд-хенде, овеянном дыханием изнасилованного космоса, она провела сорок семь лет.

По поводу амурных предложений бытия Данайя Караклева могла бы сказать следующее: я никогда не была уверена в том, что любила тех немногочисленных мужчин, которые — каждый в свое время — трясли над моим трепещущим лоном своими жировыми отложениями. Если Купидон и стрелял в мое сердце, он стрелял холостыми.

Данный тезис ее собственного сочинения был в большей степени похож на факт, чем все эти сплетни об ее вынужденном стародевичестве. Черта с два оно было вынужденным. В крупнорогатом стаде ее учеников в подобных случаях говорилось: «Ага, отсоси…»

Ей нравилось смотреть на россыпь таблеток, особенно кругленьких, похожих на сплющенные жемчужинки. Ей нравилось проезжать в троллейбусе мимо больницы, смотреть на сапфировые окна операционных и представлять себе, как хирург во время операции совершает непоправимую ошибку…

Данайя с папой жили в пятиэтажном доме,

возведенном при Никите Хрущеве в пору искусственных, одобренных государством, крушений коммунальных ковчегов. Таких домов в районе Перово, как и на прочих окраинах Москвы, было предостаточно. Их строили из панелей цвета туберкулезной слюны или из серо-розового кирпича. В каждом из этих жилых зданий отсутствовал лифт. Равно как внешняя привлекательность и внутренняя комфортность — все это также отсутствовало. Проще перечислить то, что присутствовало в этих домах: метастазы всех разновидностей рака, лестницы, по которым взбираются на вершину отчаяния, а если сходят — то сходят с ума; гитарные аккорды приблатненных песенок, что некогда исполнялись молокососами, которым суждено было сгинуть без вести в песках Афганистана и в ущельях Чечни. Еще в этих домах присутствовали стены — стены, которых жестоко обманули обещанием того, что они станут скрижалями для дополнительных Божьих заповедей…

Каждый день Данайя возвращалась в этот дом, предварительно завернув на рынок или в магазин, возвращалась с ощущением дыры, ноющей и зудящей в самом центре ее анатомии…

Из окна кухни квартиры Караклевых был ви-

ден вход в подземку. В утренние часы пик, перед тем как отправиться на работу в школу неподалеку, Данайя цедила скверный растворимый кофе, наблюдая в окно темную человеческую массу. Масса внедрялась в подземелье, переминаясь по-пингвиньи. Лица невыспавшихся людей — особенно в зимние утренние сумерки — выглядели зловеще одинаково, лишенными черт, будто шляпки гвоздей анфас.

Речь Данайи была такой же странной, как и ее зрение. Ее речь понимали только портреты классиков на стенах классной комнаты, и то не все. В Максиме Горьком, например, она сомневалась. Что касается ее учеников — так те просто стонали. Или матерились. Кто — тихо, кто — громко, у кого на что хватало духу. В школе Данайю держали за то, что она казалась кем-то вроде зверя, занесенного в Красную книгу. Широкорылой, бородавчатой косулей, к примеру.

— Район Перово — Юго-Восточная окраина Москвы — еще в начале двадцатого века представлял собой скопище болот, испускающих удушливые газы, царство ядовитых грибниц и произвольно пересекающихся тропок, по которым было опасно ходить в одиночку… — Так

начинался диктант, сочиненный Данайей для проверки грамотности учеников, пришедших после летних каникул с проветрившимися головами. Заканчивался он так: — А теперь, йобана в рот, здесь живете вы, юные шлюшки и неугомонные мастурбаторы…

Проговорив это в мозгу, Данайя растягивала бледные губы в подобие многозначительной улыбки и начинала диктовать другой текст — фальшивый, одобренный пидорами из Министерства образования: — Весной лес пробуждается от трели, прели, дрели, троллей и прочей дребедени…

Ее папа, который научил ее замысловато изъясняться, умирал от рака… Да, Иннокентий Караклев обожал эффектные фразы. И свою дочь он научил эти фразы обожать. В результате речь обоих Караклевых была так же неуместна в районе Перово, как органная фута в курортной шашлычной.

Наблюдать за умиранием папы было невыносимо. Жить и наблюдать такое Данайя считала невыносимым. Но черта с два она считала свою жизнь хуже смерти. Она была убеждена, что может жить и без будущего. Как-нибудь. Она хотела, чтобы исчез папа. Именно исчез — как икота,

которая, неизвестно откуда взявшись, помучила, помучила, потом раз! — вдруг исчезла, непонятно как и куда. Папа, — так она думала с детства, — не предназначен гробу. Она отвергала мысль о его разложении в духоте и темноте. Ее папа не может стать скелетом. Так думала Данайя раньше. Урна с серым порошком также не могла изготовиться из ее папы. Но Иннокентий Караклев умирал — источал запахи разложения и ежедневно посылал дочь своими капризами в нокаут…

На зарплату российского учителя можно купить три самых дешевых урны, расчленить папу, рассовать его по урнам и разнести эти урны по трем избирательным участкам, солгав, что ошиблась дверью. А вылечить папу на зарплату российского учителя можно только от грибка стопы. Купив соответствующую мазь. Однако Иннокентий Караклев умирал не от грибка стопы, а от рака внутренностей. Химиотерапия сделала его более ракообразным: глаза выпученные, спина, утратившая жирок, напоминала на ощупь панцирь креветки. Скоро он научится ходить задом, — думала Данайя.

Многие в школе знали, что у Данайи беда, которая тянется не прекращаясь. Завучиха Гаврюшкина сочувствовала Данайе всем своим

хищным, синюшным, злорадным сердцем. Гаврюшкина говорила ей:

— Даночка Иннокентьевна, вам следует выспаться. Я что-нибудь придумаю в порядке замены, Даночка Иннокентьевна…

Данайя не терпела проявлений жалости в отношении себя. Она мысленно сворачивала разостланные перед ней, вышитые хрящами, бархатные дорожки жалости, сворачивала последовательно, но споро и, свернув их все до единой, засовывала свертки в циклопическую жопу Гаврюшкиной, поглубже.

— Спасибо за заботу, Мария Петровна, — отвечала Данайя Гаврюшкиной. — Но, по-моему, я прекрасно справляюсь…

— Со стороны ведь видней, — парировала Гаврюшкина. — В ваших чудесных глазах отсутствует блеск.

Сейчас я тебе покажу блеск, — думала Данайя и вслед за свертками бархатных дорожек жалости засовывала в зад завучихи метафизическое множество скомканных простынь, испачканных когда-либо папиными выделениями.

Иногда папа любил пугать свою дочь. Когда ей было шесть лет, Иннокентий Караклев рассказал ей об одном китайском губернаторе, у которого

на каждую глазницу приходилось по два зрачка. За эти четыре глаза он и был назначен губернатором какой-то китайской провинции, других талантов, говорил папа, у дяди Китайца не было. Шестилетняя Данайя не могла спать без кошмаров целый месяц. Ей снился дядя Китаец, который без устали «строил» ей глазки.

Иннокентий Караклев был археологом. За всю жизнь он не раскопал ничего стоящего, за что можно было бы получить премию. Все Трои были выкопаны до него. В далекой юности он всерьез намеревался разыскать могилу Авеля Адамовича Яхвева, но… как-то дело не заладилось.

— Чего это я? — возмутилась Данайя про себя. — Чего-то он все-таки раскопал, я просто забыла.

— Слушай, пап, а чего ты раскопал? — спросила Данайя, перестилая постель.

— Рак.

— Это само собой. А еще?

— Тебя…

— По-моему, что-то было связано с курганами скифов.

— Ну да, курганы…

— Ты не хочешь об этом говорить?

— А зачем об этом говорить? Скоро я сам стану скифом…

Однажды Данайе позвонили из банка и предложили получить кредит. Зачем банку понадобилась именно Данайя, не знали даже в банке. У того, кто позвонил, был шипучий голос неопределенного пола.

— Мне не нужен кредит, — сказала Данайя в трубку. — У меня умирает папа.

— Простите, ради бога. Простите. Примите мои соболезнования. Всего доброго, — голос разливался испуганной шипучкой.

— Нет, подождите! — закричала Данайя. — Не вешайте трубку!

— Да-да?

— Что это за соболезнования? Зачем вы это сказали?

Пш-ш-ш, — молчал голос.

— Я не верю, что это возможно, слышите? Это просто невозможно! — кричала Данайя. — Я не верю! Вы не можете соболезновать, слышите? Вы просто мелкий алчный опарыш! Я не знаю ни вашего имени, ни возраста, ни даже пола, сукин вы сын! Как вы смеете мне соболезновать? И откуда у вас мой номер?

Но Шипучка уже не слушала. Она выдохлась. Данайя повесила трубку и закурила, глядя в окно, на другую сторону улицы, где справа налево,

на фоне перерытого эскаваторами сквера, прогромыхал трамвай. А в сквере, испещренном ямами, в которых лежали, глядя в пепельное небо усталыми ржавыми глазами, обнаженные трубы канализации, было пусто. Было пусто, если не брать в расчет монумент, представляющий собой трех православных монахинь, скорбно склонивших головы над тем, что из окна видно не было, а вспомнить «над чем именно» Данайя не смогла, хотя проходила мимо этих монахинь-среди-канав каждый день — по дороге в школу.

Дешевле было ходить на рынок. Хотя папа не научил ее торговаться. Хорошо, что в связи с папиным умиранием двухротовая семья Караклевых стала потреблять меньше съестного.

— Один рот Караклевых пускает пузыри, — безотчетно сказала Данайя торговке мясом, которая пыталась всучить поросячьи, не ведающие плоскостопия, ножки.

Месяц назад Данайя ходила к одному ублюдку, на которого указал другой ублюдок. Оба были медиками, считавшими себя проводниками истинного милосердия. Они ратовали за эвтаназию, добавляя, что, если она кому-нибудь об этом расскажет, они сделают ее иллюстрацией

к анатомическому атласу Везалия. Пилюля от мучительного умирания обошлась Данайе в восемь девятых ее учительских сбережений. Тот день она помнила хорошо. Она шла домой от железнодорожной станции, по 2-й Владимирской улице, в сторону дома. Небо было цвета вареной свинины. Светофоры делали то, что всегда — ждали поломки. Расплющенные окурки лежали на асфальте, как фараоны микрокосма, у которых спиздили саркофаги. Бродячие коты удирали от стряпчих уличной шаурмы.

Данайя дала папе яд. Иннокентий Караклев захотел спать. Данайя уложила его и пошла в кухню — ждать, когда папа не проснется. Но Иннокентий Караклев проснулся. И даже попил немного куриного бульона. Когда он уснул в следующий раз, то снова — поспав — проснулся. И в третий раз было аналогично. В четвертый и пятый. Так прошло три дня, а папа все не умирал. Яд, не задержавшись в его больном теле, вышел вместе с уриной или калом, точно она не знала с чем. Тогда Данайя позвонила ублюдкам.

— Что вы мне дали? — спросила она ублюдков.

— То, что вы просили, — был ответ.

— Но оно не подействовало! Прошло уже три дня!

— Не кричите так. Ждите, подействует. И больше сюда не звоните.

Данайя принялась ждать. Минула неделя. Иннокентий Караклев умирал, но все время не до конца. И так каждый день. Умирал, но не до конца.

Она знала о том, что двое учеников из девятого класса — Чуняев и Голоцван — совершили убийство. Данайя случайно подслушала их оживленную, на грани подлинной эйфории, беседу. Парни бодро, с упоением, обменивались впечатлениями. Подобное упоение, должно быть, испытывал Создатель в первые часы после сотворения мира. А эти — Чуняев и Голоцван — просто прошедшей ночью убили бомжа. Они демонстрировали друг другу при помощи бомжа приемы единоборств и заединоборствовали бродягу до смерти. Данайе и раньше приходилось слышать о похожих развлечениях праздной, но энергичной молодежи из семей, считающих себя благополучными. Разыскиванием бомжеубийц Перовская милиция занималась неохотно. Верней, так: начинала заниматься неохотно, а спустя несколько часов переставала заниматься вообще. Помимо безродных и бездомных, у Перовской милиции было полно более удачливых трупов — с род-

ственниками и жилплощадью.

Но труп того бомжа не сгинул бесславно — он сделал кратковременную, но безусловно успешную карьеру актера анатомического театра. Студенты-медики забросали его букетами сверкающих скальпелей…

Ей импонировало то, что ее ученики — Чуняев и Голоцван — мало того, что не успевали ни по одному из предметов, да еще и оказались убийцами. Это позволило ее ненависти к ним обрести твердую почву под ногами. Тестостероны выпрыгивали изо рта, ушей, носа, из-под ногтей Чуняева и Голоцвана…

Однажды по телевизору она увидела сюжет о том, как ученики изнасиловали и убили учительницу физкультуры. Это произошло где-то на периферии, которую москвичка Данайя представляла так же смутно, как город Брабант. Глядя на Голоцвана, топтавшегося у доски — руки в карманах широких джинсов, джинсы увешаны цепочками и брелоками, с мотней до колен, — она вообразила его, Голоцвана, как он торопливо, дрожащими руками расстегивает свои вонючие портки и с ороговевшим дилдуем набрасывается на нее, — Данайю. Она, Данайя, лежит, распятая на гудроне, голая, подельники Голоцвана держат

ее за руки и за ноги, она бьется в капканах их рук, будто поваленная на спину косуля — широкорылая, бородавчатая. Сначала Голоцван, потом каждый из молодчиков прикладывается к ней своими плохо вымытыми гениталиями, трясется на ней немного, потом спрыскивает, чем бог послал, и… ощущает пронзительный стыд. А, устыдившись, они сворачивают ей шею, или душат проволокой, или затыкивают ножичками…

— Это все, что вы изволили выучить, достопочтенный Голоцван?

— Я не успел, Дана Иннокентьевна, у меня вчера кошка рожала.

— Много родила?

— Шесть штук. Вам не нужен котенок, Дана Иннокентьевна?

— Садитесь, Голоцван. Ставлю «удовлетворительно».

— Почему «удовлетворительно»? Ну Дана Иннокентьевна…

— Садитесь на место.

С ворчанием сквозь выпяченную губу Голоцван пошел на место, бренча цепочками и брелоками на своих вонючих портках. Руки в карманах. Данайя взяла мел и повернулась к доске.

— Жидовка… — буркнул Голоцван.

Данайя — не поворачиваясь — ухмыльнулась в серую, как мышь, гладь школьной доски.

«Что будет, — тут же подумала Данайя, — если я этим вот кусочком мела, да на этой вот доске напишу че-нить этакое. Например, „Будьте вы все прокляты“. Что тогда будет? А ничего, — продолжала размышлять Данайя, — ничего не случится. Все они переглянутся друг с другом, выдавливая из себя недоуменные ухмылки, как бараны, почуявшие запах разжигаемого мангала. Просто все они давно прокляты. И она тоже. Она, Данайя, была проклята раньше всех остальных, сидящих в этой классной комнате. Потому что она старше своих учеников. Почти в три раза. Вот такая вот арифметика. На уроке литературы. В районе Перово. В общеобразовательной школе города Москвы, по сравнению с которым Брабант — нищая деревенька на пять домов при одном сортире».

Было бы естественным предположить, что раз у Данайи был папа, была и мама. Данайя не любила таких естественных предположений, тем более, если они исходили от посторонних. Во-первых, мамы, которая у нее действительно когда-то была, теперь не было. Во-вторых, мама любила свою Данайю очень недолго — с нуля до

девяти лет плюс девять месяцев, которые мама потратила на таскание дочери в своем чреве. А когда девять лет истекли, мама положила на личико спящей Данайи большую пуховую подушку — положила и села на нее сверху. Папа вовремя снял маму с подушки и, соответственно, с багрового личика едва не задохнувшейся дочери. Больше Данайя не видела маму. За исключением того раза, который забыла: вроде бы они с папой навещали ее в каком-то желтом подвале, пахнущем уколами. Теперь-то Данайя знает, знает уже двадцать с лишним лет, что скверный фокус с пуховой подушкой обеспечил маму кончиной в сумасшедшем доме.

— Мама любит тебя, — уверял Караклев свою девятилетнюю дочь, задремывающую в слезах. — Ей надо чуточку полечиться, и она опять будет с нами. Мама любит тебя.

— А ты меня любишь? — размазывая слезы кулачком, вопрошала Данайя.

— И я, — отвечал папа с обидой на то, что она позволила себе сомневаться в его чувстве. — Очень-очень-очень. Папа любит свою дивную кроху-умницу.

Иннокентий Караклев становился все капризней, все ракообразней. Все пахучей. Хуже всего

было то, что папа начал вслух вспоминать прошедшую жизнь, притом те ее моменты, которые здоровый человек не только не вспоминает, но старается напрочь забыть. Но долгое умирание развратило папу. Вместо того чтобы сделаться набожным, он превратился в циника, какой редко встречается в стане умирающих организмов. Вот что Иннокентий Караклев говорил своей дочери Данайе в тот день, когда шел проливной дождь, такой тяжелый, молотящий, что у голубей, попавших под этот дождь, случалась контузия. Район Перово напоминал необъятный треснувший аквариум, в который лили воду из тысяч тоненьких шлангов неба. По улице сновали водолазы без снаряжения.

— Я спал с твоей матерью. Совершенно исступленно спал. Я буравил ее, буравил, а потом ты возникла из ее живота, как сумасбродный тролль из раскореженной пещеры… Признайся, чадо, тебе здесь сразу не понравилось.

— Нет, мне здесь понравилось. Сразу. Ты заблуждаешься, папа, — одним ухом прислушиваясь к шуму дождя, отозвалась Данайя. — Такие дурни, как ты, постоянно заблуждаются. Ты создан из ошибок. У тебя между ног болтается роковая ошибка.

Иннокентий Караклев смотрел на струи, бегущие по стеклу.

— Послушай, чадо… — произнес он, сухо сглотнув. — Постарайся быть… счастливой. Я так устал оттого, что ты несчастна… Я умираю из-за твоего несчастья.

— Ты умираешь от рака, — заметила Данайя, вставляя сигарету в угол своей ухмылки.

Оба помолчали немного, секунд тридцать пять. Дымок от сигареты Данайи извивался в темной комнате, подобно длинной нитевидной водоросли в Гольфстриме.

— Ты знаешь, почему я расстался с твоей матерью? — спросил папа, скребя впалую щеку. — Из-за одного студента, — папа многозначительно хмыкнул. — Красавец-прохиндей. Он отлично играл в покер, увлекался химией и водным поло. Да-с, кроха моя, у него всегда имелись в запасе джокеры. Реторты лопались от перенагрева, а плавал он в лиловой шапочке. Твоя мать застала нас, когда я стоял на коленях, полируя ртом его…

— Его что? — спросила Данайя, окаменевая.

— Его то! — Папа хмыкнул и лукаво сощурил в сторону дочери бесцветные глазки.

— Папа… — продолжая окаменевать, произнесла Данайя. — Ты что, был гомосексуалистом?

В ее мозгу образовалась ошеломляющая картина — ее умирающий папа сосет пенис у двоечника и убийцы Голоцвана.

— Было дело, — отвечал папа тем временем. — Иногда. А кто этим не занимался? В отрочестве, в казармах, по пьянке, во сне…

— Ты вообще любил мою мать?

— Да, кроха моя, да, — Иннокентий Караклев усердно кивал безволосой головой. — Ты — следствие грандиозной любви, штормовой диффузии. Клетки выскакивали из наших тел и перемешивались. Такая страсть сотрясала любую погоду! Умопомрачительное было время.

— А как же тот студент? — спросила Данайя, глядя, как столбик пепла осыпается с ее сигареты на ковер. — Как его звали?

— Андрей. Да-да. Умопомрачительная была страсть. — Папа даже причмокнул и заурчал ласкаемым котом. — Абсолютная диффузия. Взахлеб. До удушья. Чудо, а не страсть.

— Ты любил мою мать? — металлическим голосом допытывалась Данайя. — Отвечай. Я не понимаю. — Безволосая голова папы самозабвенно трудилась над промежностью убийцы и двоечника Голоцвана.

— Я сильно-сильно любил их обоих, — отве-

тил Иннокентий Караклев. — И еще человек двадцать. Я всех любил. И каждый раз это было чудо.

Данайя затянулась окурком и отрешенно уставилась на тот же дождь в окне. На щеках Голоцвана алел похотливый румянец, он закатывал глаза, поощряя стонами безволосую, хрупкую голову папы, голову с гниющим ртом.

— А меня? — чуть слышно спросила Данайя.

Папа услышал, его морщины неожиданно разгладились, и он ответил:

— Ты — моя кроха. Моя любимая книжка. Плюс Луи Армстронг. Плюс Феллини. Плюс мой любимый салат оливье. А также все египетские пирамиды и развалины великих замков. Понимаешь? Еще ты — кувшинки на пруду, где я купался маленьким дармоедом… Плюс Бог, каким бы он ни оказался на самом деле. Моя кроха. Данайя. Подойди, поцелуй меня.

Данайя спешно раздавила окурок в пепельнице, подошла на неощутимых ногах и вжалась щекой в папины губы.

— Я тоже тебя, — произнесла она, — погибающий ты… — добавила она беззвучно, — мой папа…

Голоцван кончил. Дождь в районе Перово не

думал кончаться. Данайя пошла на кухню, оставив папу смотреть в серое окно, зарастающее небесной влагой…

Она ударила его молотком для отбивания мяса, той стороной, где были зубчики. Данайя знала заранее, что одного удара по голове будет недостаточно. Двух тоже. В процессе она догадалась, что достаточно ударов будет только тогда, когда она в третий раз собьется со счета. Потом она стояла, не глядя на папу, прислушивалась. Данайя представила себе монитор с тускло-зеленым изображением нитевидного — папиного — пульса. Потом она уронила молоток, пошла на кухню, вымыла руки, пошла в прихожую, взяла сумку с тетрадями, вернулась на кухню, села за стол и стала проверять сочинения. Через полчаса ей это надоело. Она пошла в комнату, включила свет (на улице уже стемнело, а дождь все лился) и посмотрела на папу. Иннокентий Караклев сидел в том же кресле, завалившись на бок, так, что рука костяшками пальцев касалась ковра. Отбитая голова была обильно облита собственным соком. Данайя решила оставить все так, как есть — по крайней мере, пока она не примет ванну с душистой солью. Соль всегда положительно влияла на ее тело. Сидя на бортике ванны и глядя в зеркало

с порыжевшей в нескольких местах амальгамой, Данайя произнесла:

— Это просто.

Потом ей говорили, что она помешалась. Совсем как мама. Те, кто говорил это, были правы. Она это понимала и отвечала: «А вы все — ублюдки, ублюдки, ублюдки…» Не исключено, что она тоже была права.

Ирина Денежкина
Рождество
Новый Арбат

Тяжелые стеклянные двери вытолкнули-таки Юлю из подземки, и она остановилась на улице. Перевела дух. В подмышках было потно, по спине тоже съезжали капли — в общем, мокрая как мышь. Юля долго размышляла, почему именно «как мышь», а не как кошка, собака, попугай, в конце концов… Себя она чувствовала как раз мокрым попугаем — который щелкает клювом. Щелк-щелк — и кошелька нет. Щелк-щелк, и Юля стоит на выходе из «Баррикадной», как мокрый попугай без копья в кармане. Юля потерла лоб, размазывая тональный крем, заехала чуток в глаз — и размазывала по лбу уже тушь, но в смятении этого не замечала.

Она пыталась вспомнить, когда произошел роковой щелчок клювом — то ли в толпе на платформе, то ли в душном битком набитом вагоне, в который она влезла, отчаянно пихаясь локтями. В толпе? Как раз рядом терся какой-то мужик в дубленке. В дубленке! Точно он. Вытянул кошель,

пока Юля жадно всматривалась в лежащего на рельсах Михал Иваныча…

Михал Иваныч работал корректором в том же издательстве, что и Юля, и сегодня его сократили. Прямо так и сказали: Иваныч, не нужен ты более. Выпили чай с тортом «ежик» (где секретарша Леночка достала этот эконом-вариант проводов — «еж» — ну надо же!) и быстренько захлопнули за Михал Иванычем дверь. Юля с любопытством смотрела из окна, как он выходит, затравленно озираясь по сторонам и кутаясь в грязно-желтую курточку, а сверху, из окна его бывшего кабинета, секретарша Леночка бросает на него коробку с вещами. Промазала, конечно. Леночка всегда немножко коса.

Юля тогда тихонько про себя порадовалась, что это не в нее полетела коробка с барахлишком. Окинула взглядом свой стол. Сплошные сувениры из дальних стран. Юля очень часто ездит в командировки в разные страны. Вот засохший рогалик с Октоберфеста — секретарша Леночка все порывается его выбросить, но получает по рукам.

Вот жестяная коробка с чаем из Англии, так ни разу и не открытая, зато веселенькая — в виде двухэтажного автобуса.

Вот шарфик из Франции — Юля тогда поехала во Францию и обнаружила, что все французские люди ходят в шарфиках. Пришлось купить, чтоб не сильно отличаться. Сейчас шарфик съежился на краешке стола. «Не к добру». — подумала Юля, но значения не предала.

Она получила свою зарплатку в бухгалтерии, еще раз порадовалась тайно, что она не Михал Иваныч. Спустилась в метро — и тут увидела грязно-желтую курточку, метнувшуюся под сигару вынырнувшего из тоннеля поезда. «Михал Иваныч!» — воскликнула про себя Юля и побежала скорей к путям. С нетерпением дождалась, когда люди загрузятся в вагон и поезд отчалит. На рельсах лежал маленький Михал Иваныч, скрючившись, как эмбрион. Ручки и ножки у него тоже были как у эмбриона — тоненькие, одна — неестественно вывернута, а кисть валялась в стороне. Голова была расплющена, как арбуз под грузовиком, тоненькие жиденькие волосики с проседью облепили блестящий рельс. Юля торопливо пошарила в карманах, достала телефон. Рядом с ней еще человек пять-шесть торопливо вытаскивали мобильные, включали запись видео. Юля отпихнула одного, наглого в синей куртке, чтоб снять Михал Иваныча побли-

же и получше.

Вот тут и протиснулся к ней мужик в дубленке, и наверняка это он и умыкнул из кармана Юлиной куртки, купленной в Италии (на память об Италии сувенир — плавки официанта из EZ Hotel, кличка Зайка, на столе в издательстве не положишь — упрут — Юля хранила их дома), кошелек с деньгами. Ладно бы с деньгами, ну тыщи три-четыре, ан нет — именно с Деньгами, со всей зарплатой и премиальными. Как жить?

Или, может, виноват маленький мальчик в шапочке reima и куртке с подвернутыми рукавами? Стоял рядом, невинно шнырял глазками, держался за поручень и в моменты остановок впечатывался безмятежным личиком в Юлину куртку.

«Скорее всего, именно он», — подумала Юля, в сотый раз ощупывая карманы. Кошелька не было. Юля вздохнула, одернула куртку и пошла домой. Прошла мимо вагончиков с чебуреками и пиратскими дисками, мимо дикой готической высотки, с рожами — американского посольства. С тоской вгляделась в одну из рож. Рожа глядела свысока, надменно. Юля вздохнула и побрела дальше.

Зашла домой, включила свет. Из комнаты вы-

бежал Барсик, сиамский кот. Посмотрел на Юлю раскосыми голубыми глазами, раззявил пасть. «Жрааааать», — явственно услышала Юля.

В животе у нее заурчало.

До Юли дошла наконец вся бедственность ее положения.

Через два часа придет Олежка К. На свидание. А у нее ни денег, ни романтического ужина. И, как следствие, никакого секса. Это женщины любят ушами, а мужчины любят желудком. Юля прошла в комнату, не снимая ботинок. По ковру протянулся грязный осенний след. Открыла дребезжащую дверь и вышла на балкон. Прямо перед Юлей расстилались огни Нового Арбата. Вот громадное здание, в переплетении огоньков похожее на раскрытую книгу. Вот казино в форме корабля, вот еще казино, и еще… Дорогие машины, много людей. Юля иногда мечтала выпрыгнуть из окна и приземлиться прямо на этот горящий синими огнями корабль — а затем уплыть в далекие страны, где можно целыми днями жрать кокосы и бананы и ничего не делать.

«А, может, и вправду? — мелькнула у Юли мысль. — Спрыгнуть сейчас с балкона, и все. Ни о чем не надо будет думать». Олежка К. найдет ее бездыханное, как у Михал Иваныча, тельце,

вздохнет и пойдет дальше по жизни…

Но недаром по гороскопу Юля была Близнецы. Пока один близнец предавался унынию и суицидальным настроениям, другой судорожно искал выход из сложившейся ситуации. В конце концов Олежка К. не виноват, что мальчик в reima/мужик в дубленке ее обчистили. Олежка придет усталый и захочет есть. Значит, надо приготовить ужин.

Сказано — сделано. Юля решительно прошла на кухню, открыла буфет. Потом холодильник, потом шкафчики над мойкой. На ум пришла старинная детская сказка про Колобка. «Скребу по сусекам», — усмехнулась про себя Юля.

Итогом поскребушек стали: бутылка подсолнечного масла (на донышке), кусок засохшего батона, банка контрабандной красной икры (у секретарши Леночки дядя работал на Дальнем Востоке), бутылка водки и сухарики со вкусом бекона (опять хлеб!).

Юля почесала тыкву и потерла лоб. Тот заныл. «Слишком много тру в последнее время», — подумала Юля.

Мозг решительно отказывался придумывать, что можно приготовить из данного набора продуктов.

Запиликал мобильник. Юля схватила трубку. На секунду подумалось, что это мальчик в рейме/мужик в дубленке одумался и звонит, чтобы отдать злосчастный кошель с зарплатой (и премиальными, Юля!).

— Але, Юленька? — пропел в трубку Олежка.

— Я, — томно выдохнула Юля, поборов секундное разочарование.

— Ты ждешь меня, Юлечка?

— Да, — опять выдохнула Юля.

— Я лечу к тебе, моя сладкая!

Юля положила трубку. В кухню на мягких лапках вошел Барсик, принюхался к запасам на столе. «Жрааааааать!» — опять донеслось до Юли. Врезалось в уши.

Она вдруг решительно встряхнулась и пошла в ванную. Через секунду вышла оттуда, сжимая в руках швабру.

— Пошли на балкон! — строго скомандовала Барсику. Тот послушно потрусил следом.

На балконе Юля положила Барсика на пол, благо он был обклеен кафелем — в случае чего легко мылся. Барсик послушно лежал, вращая раскосыми голубыми глазками. Юля положила ему на шею, ближе к ушам палку от швабры. Потом схватилась за перила и со всего размаха

прыгнула на палку, стараясь попасть ногами на разные ее концы. Раздался хруст, и глаза у Барсика с чпоканьем вылетели из глазниц, из горла вырвался хрип. Розовый язычок вылез набок. Юля попрыгала на палке для верности, потом сбегала на кухню за ножом и табуреткой. Села на балконе, и стала неторопливо освежевывать Барсика, воткнув ножик в горло. Шкурка слезала с трудом. На Москву спускался вечер.

Работа умиротворила Юлю. Она всегда успокаивалась, когда, например, чистила картошку или стирала носки.

Олежка пришел в восемь вечера. К тому времени Юля уже поставила Барсика в духовку и ждала, когда тот покроется румяной корочкой.

— Милая моя, — произнес Олежка, целуя Юлю в щеку. — Куда на сей раз мы отправимся?

«Блядь, — подумала Юля. — Ну неужели нельзя хоть один вечер посидеть дома и не шляться по промозглой Москве? Тем более Москва — вот она, рвется в окна — казино-корабль яростно мигает огнями». А вслух промямлила:

— Олеж… Я прям не знаю. Куда ты хочешь?

— На кладбище? — встрепенулся Олежка.

Юля вздрогнула. На кладбище они уже были позавчера. Ходили, читали фамилии, пили пиво,

Олежка фотографировал кресты и памятники, которые казались ему особенно красивыми. Потом ему пришла в голову мысль, что неплохо было бы сфотографировать Юлю. Он велел ей раздеться догола и обниматься с крестами. Сам бегал вокруг с «Кэноном», искал ракурс получше. «Писькой, писькой прижимайся!» — орал он, входя в раж. «Лизни фотографию этого еврейчика! Давай! Стой так!» Или: «Все же попробуй. Ноги на перекладины а сама на верхушку креста, давай. Наденься на него, ну!» — он нетерпеливо тряс фотокамерой. Юля краснела, бледнела, руки дрожали. Она карабкалась на кресты и гранитные валуны, а октябрьский ветер пронизывал ее до костей.

— Нее… — протянула она через минуту. — На кладбище мы уже были. Помнишь? Позавчера. Это уже… э… э… неинтересно.

— Неинтересно? — обиделся Олежка, но обижался он недолго. Вот и сейчас бровки его разгладились, он примирительно произнес:

— Может, на лекцию по нанотехнологиям?

— Вчера были. — Юля заглядывала ему в глаза. — Я приготовила ужин… Может, посидим дома, посмотрим телевизор?

— Телевизор? — вздохнул раздраженно Олежка, но Юля глядела на него снизу вверх так

трогательно, что он смягчился. — Ладно. Что у тебя на ужин?

— З…з… заяц, — клацнула зубами от волнения Юля.

— Аристократы ели!

Олежка прошел на кухню, уселся напротив окна, удовлетворенно крякнул, взяв в руку бутылку водки. Юля суетливо откинула дверцу духовки, обожгла мимоходом палец. Тихонько взвыла.

Олежка быстро расправился с Барсиком, лицо его залоснилось. Он зевнул. Встал, потрепал Юлю за щеку и отправился в гостиную, где лег на диван перед телевизором. Пока Юля мыла посуду, из гостиной донесся протяжный храп.

Олежка спал, приоткрыв рот.

И никакого секса.

…Утром Олежка проснулся, сладко потягиваясь. Юля проснулась раньше и теперь готовила завтрак — намазывала на батон красную икру. Слава богу, осталось немножко водки.

Олежка вышел на кухню, почесывая волосатый живот.

— Юленька, — промурлыкал он. — Чуть свет уж на ногах, а я у ваших ног!.. Трам-пам-пам!

Юля зарделась. Олежка опять потрепал ее за щеку. Сел. Налил в стаканчик водки, куснул бу-

терброд.

Расправившись с завтраком, он слегка пожурил Юлю:

— Неплохо бы кашки овсяной с черничкой приготовить бы… и сок свежевыжатый… Это в следующий раз. Нельзя быть такой прижимистой, Юлеш. Все икра да водка. Все, я побежал на работу в галерею! Вернусь к вечеру! — он подмигнул Юле, напяливая куртку.

Олежка убежал, хлопнув дверью, а Юля призадумалась. Надо было как-то добираться на работу. Пешком — нереально. На метро — нужны деньги. Вообще, деньги нужны.

Юля вздохнула. Взяла с буфета нож и пошла к соседям.

Постучала в железную дверь.

— Кто там? — раздался спустя пару минут скрипучий голос.

— Я, Наталья Павловна! — отозвалась Юля. — Соседка!

— Чего надо?

— Откройте, Наталья Павловна!

По ту сторону железной двери хмыкнули.

— Еще чего!

Юля вздохнула.

— Наталья Павловна! От вас… э… газ идет! Пах-

нет очень! Взорвемся ведь, как дом на Каширском шоссе, и привет! У вас утечка, видимо! Откройте!

Соседка некоторое время раздумывала, потом раздался лязг отпираемого замка. Выстрелила щеколда.

— Наталья Павловна, — Юля бочком протиснулась в открытую дверь. — Вот вы опасно придумали это, вот эту самодельную щеколду. Я смотрела «Службу спасения», так вот там постоянно вызволяют старушек из квартир, запертых на щеколды. А иногда и не успевают вызволить!

— Какая я тебе старушка? — огрызнулась Наталья Павловна. — Мне до пенсии еще год, если б ты знала, дурья башка!

Юля сжала в потной ручонке нож и притворила за собой дверь…

Сергей Самсонов
Точка невозврата
Останкино

Он живет, как будто получил с рождения божественное дозволение на свою бесподобность. В то время как другие жители «писательского» дома на углу Добролюбова и Руставели, 9/11 погружены в уныние, мало чем отличающееся от чувства окончательно проигранной жизни, мой сосед по комнате Татчук начисто лишен этого всеобщего ощущения безысходности.

Мы возвращаемся в общагу, мы поднимаемся на землю из Люциферовых хлевов московского метро: я — как всегда пришибленный и оглушенный поражением, он — как всегда обласканный удачей и с неизменной победительной улыбкой на устах. Я — ненавидящий азербайджанцев, русских, молдаван, евреев, таджиков, украинцев, негров и других землян, сорок тысяч которых ежедневно протекают по вестибюлям станции Дмитровская (с ее мраморной облицовкой цвета засохшего кровоподтека). И он — не замечающий всей этой шушеры в упор, проходящий насквозь,

как будто он имеет дело только с голографическим изображением людского стада.

— Ну что ты дуешься? — вдруг говорит он, когда мы выходим из подземного перехода на Бутырскую улицу. — Как будто это я во всем виноват.

— Я так не считаю.

— Ну, как не считаешь, когда я вижу, что считаешь? Ну, скажи мне беспристрастно, разве виноват я в том, что в папке с твоим личным делом не оказалось ни одной твоей рукописи? Это, друг мой, судьба.

Значит, дело было так: координаторы одной литературной премии обратились к руководству нашего института с просьбой прислать им пару-тройку наиболее интересных рукописей. И все нужно было сделать буквально за считаные часы — выбрать и прислать, ибо сроки приемки романов и повестей уже заканчивались. Выбрали нас с Татчуком и еще одного студента. Отыскали личные дела, вот только моя несчастная папка оказалась пустой в отличие от татчуковской — набитой битком. Я опоздал… Проходит месяц, и сосед мой — в списке претендентов на всероссийское признание и кругленькую сумму.

К остановке подходит троллейбус маршрута 29К, и мы вбиваемся в переполненный швалью

и мразью салон.

— Слушай, прекрати, — говорит он, брезгливо поводя плечами и расталкивая давящихся в троллейбусе людей. — Ну, хочешь, помогу тебе устроиться в «Профиль»? Пойдем завтра вместе, и я намекну, что лучше бы им было остановиться на твоей кандидатуре? — великодушно предлагает он.

— А что же ты сам? — говорю.

— Об этом можешь не беспокоиться. Устроюсь в «1-й архитектор бизнеса» — там и денег предлагают больше.

В то время как другие месяцами мыкаются в поисках работы, у него всегда есть выбор между четырьмя-пятью завидными предложениями. Достаточно ему переступить порог любой редакции, как женщины-начальницы тотчас же принимаются ссать кипятком. «Ах, какой милый мальчик!» Он наделен всем тем, что отвечает сексуальным интересам как юных девушек, так и зрелых матрон: чистой линией массивной нижней челюсти, кариатидами игриво выгибающихся бровей, глазами ангельской чистоты, мускулистыми кистями и прочими признаками доминирующего самца. Вы бы знали, с каким обожанием на него взирают снизу вверх все наши

студентки, несомненно, изнывая от готовности отдаться ему.

Он нисколько не дорожит завоеванным рабочим местом и преступно пренебрегает порученными обязанностями. (Он ни разу не продержался в редакторском кресле больше трех-четырех недель, но всякий раз без всякого усилия находил себе работу, как если бы московские работодатели открывали все новые и новые вакансии специально для него.) За ним и в самом деле тянется как будто некий шлейф удачи, как за мифическим оленем, из-под копыт которого фонтанами бьют самоцветы: уже не раз моя причастность к его победительному ореолу приносила мне неплохую сезонную работенку.

Мы выходим на остановке «2-й Гончарный проезд». Книжный магазин с идиотским названием «Корешки», «Аптека» и «Оптика», идущие друг за другом по принципу созвучности названий, остаются у нас за спиной.

— Пойдем возьмем чего-нибудь пожрать, — говорит он, кивая на неоновую вывеску продуктового магазина, в котором молодые литераторы покупают жратву на завтрак и ужин (пачку крабовых палочек и пакет майонеза, с очень редким позволением себе какой-нибудь гадости вроде

ливерной колбасы или глянцевитой, подозрительно-ненатурально розовой связки сосисок). Он берет триста граммов деликатесной ветчины, двести граммов голландского сыра, консервированные оливки и две бутылки чилийского красного вина.

— Тебе не кажется, — говорит он на выходе, — что мне пора бы написать новую повесть или хотя бы рассказ? Я давно ничего не сдавал, а весна уже не за горами. Сессия, зачет по писательскому мастерству. Я предпочел бы повесть, исполненную в стилистике Набокова. В соединении с магическим реализмом Маркеса. Интересно, ты бы потянул?

— А сексуальную откровенность Миллера, — не выдерживаю я, — туда же не завернуть?

— Нет, Миллер — это не то, — отвечает он, поколебавшись. — Интимные отношения показаны у него чересчур вульгарно. Я предпочел бы более изысканные постельные сцены, решенные полутонами. А «я вогнал ей по самое „не балуйся“» — это можешь оставить для своих рассказов. Это как раз твой уровень, — смеется он. — Уровень порнографических фантазий, которые ты не можешь воплотить в действительность.

Когда все это началось и почему все это проис-

ходит так? Нас в институте называют не иначе как «новошахтинскими близнецами» — в столицу приехали вместе и разве что только в сортир отправляемся по отдельности. Пребываем в смертельной зависимости друг от друга…

А вот и наше обиталище — какого-то бледно-морковного цвета и как будто покрытое копотью семиэтажное здание. Вы там, в своей далекой Америке, способны представить писательский дом, до отказа набитый растущими дарованиями? Нет, такое возможно только в России — специальный университет, в котором молодые люди обучаются составлять слова, специальное для них общежитие. Присутствие Останкинской телебашни неподалеку незримо, но странным образом ощущается; говорят, что магнитные волны, исходящие от отравленного останкинского шприца, порождают в душах окрестных жителей суицидальные настроения и воздействуют на обитателей нашего общежития подобно дудочке Крысолова, увлекающей непризнанного литературного гения в уютное небытие. Я считаю: полнейшая чушь, не в магнитных волнах тут дело.

А вот мы уже в нашей комнате. Допотопный, но исправный холодильник, свежие обои, плотные

алые шторы (на восходе и закате становящиеся угрожающе багровыми на просвет), новые паркетные полы и даже вырезанные из журналов репродукции полотен Ван Гога и Босха на стенах, оставшиеся от прежних хозяев.

— Слушай, — говорит он, едва переступив порог и чутко принюхавшись к воздуху в комнате, — сколько раз я просил не курить в коридоре за дверью? Ты же знаешь — я не выношу. И все равно как будто делаешь нарочно.

— Да я все больше на лестнице, — отвечаю, — но другим же не запретишь? Как курили, так и курят в торце у окна.

— И другим бы тоже хорошо… Давай сопрем табличку «Не курить» из институтского сортира. Повесим у нас рядом с дверью. Давно мечтаю о такой табличке… Слушай, ты бы мог спереть ее свободно, у тебя всегда отлично получалось тырить всякую ерунду. Помнишь — как книги из школьной библиотеки? А я тебя тогда не сдал, пожалел. Зачем, подумал я, твою судьбу губить? Шутки шутками, но тогда бы ты на полном серьезе понес уголовную ответственность. Так что цени. А то кем бы ты был сейчас? Студентом элитного столичного вуза или харкающим кровью туберкулезником?.. А чему ты усмехаешься

скептически? Что, срок давности истек? Теперь никто не привлечет тебя за прошлое и, значит, можно наконец вздохнуть свободно?.. Ну и дурак же ты был два года назад. Вот скажи мне: что тебя заставило?

— Тяга к прекрасному, — отвечаю серьезно. — Книжки я очень любил. Какой-то прямо чувственной любовью. Золотое тиснение, кожаный переплет, по странице рукой проведешь — и каждую буковку чувствуешь… как слепой азбуку Брайля.

— Чувственной любовью надо девушек любить, — усмехнулся он. — А если серьезно, то думаю, что тяга к преступлению у таких людей, как ты, в крови и обусловлена генетически. Ты — из низов, как, впрочем, и подавляющее большинство из тех, кто учился тогда с нами вместе. Нет, ну ты, конечно, молодец — не превратился в полное, законченное быдло, как многие из нашей тамошней-тогдашней гопоты.

Да, еще полгода назад он держал меня на этом крючке. Знал, в чем меня уличить — в детской шалости, за которую полагалось недетское воздаяние. Но разве в этом действительная причина моей всегдашней зависимости от него?..

Началось все три года назад. Мир облезлых

«хрущоб», новошахтинской школы, мир свирепых, грубо тесанных лиц, любое из которых будто от рождения отмечено несомненной принадлежностью к миру воровства, насилия или, по крайней мере, беспросветно-тяглового шахтерского существования.

Мир отбросов, шпаны, немигающих глаз, что сызмальства по-бычьи приучены давить на чужака, мир безбожно незавидных участей — девять классов средней школы, горное училище, армия, шахта, пиво после смены, футбол на выходных или не слишком продолжительное членство в бандитской бригаде с неминуемо-скоропостижным пулевым отверстием в твердокаменном лбу.

И вот на этом многоногом пролетарском теле возникает будто бы болезненный нарыв — появляется мой нынешний сосед, Татчук, невесть откуда взявшийся пришелец с горделиво возносимой головой, ясноглазый и орлиноносый. Носитель оскорбительной инакости во всем — в одежде, по сравнению с которой добротные штаны и куртки окружающих превращались в отребья; в безупречно правильной, лишенной паразитов речи, в манере чуть брезгливо прикасаться ко всем чужим вещам и даже в идеально

ровном, нерушимом проборе, на который он расчесывал свою густую жгучую шевелюру.

Всем, чего мне так катастрофически недоставало, он был наделен с избытком, и прежде всего редкостной отвагой, почти уродливым отсутствием трусости, с которым он отстаивал собственное «я». Ведь ему приходилось каждодневно, каждочасно отвечать за все, непрерывно выдерживая ненавидящие взгляды и убогие в своем однообразии издевки («фу, жеманный!», «педик»), и он отвечал — неизменным смехом *постороннего,* той улыбкой, за которую хотелось ударить, таким превосходством, таким сознанием своей неотразимости и правоты она дышала.

Он говорил о том, что большинство людей подобно рыбам, которые способны обитать лишь в специально отведенном им слое воды, и вздумай они однажды рвануться глубже или выше, покинув пределы предусмотренной зоны, им тотчас разорвет кишки.

Едва он появился, как тут же для меня забрезжила надежда переместиться в высшие слои и избежать при этом неминуемой погибели. Забрезжила возможность дружбы с ним, способным перемещаться по вертикали свободно, и было в этом что-то от влюбленности — как в старшего

брата, который всегда защитит, осенит тебя своим бесстрашием… и о, чудо! все вышло так, как я и ждать не смел: он пошел мне навстречу, мы сблизились, и вот он уже говорил мне, как это ужасно — быть заурядностью, и что мы с ним, конечно, не такие, чтоб смириться с прозябанием в этом городишке. И я верил в него, как древние аргонавты в специально приглашенного любимца богов, чье единственное назначение на корабле заключалось в привлечении удачи.

Тихий вечер в общаге. Вдруг из соседней с нами комнаты — вопли, причитания, звон тарелок, затем истерический плач. Срываемся с места, предвкушая спектакль. В 620-й, где живут Самохин с Зюскиндом, Зюскинд поднял бунт. (У Самохина вечно компания, пьянка, девицы, а сосед его Зюскинд — забитый и угрюмый нелюдим.)

— Хватит мной… хватит! — Зюскинд с перекошенным лицом вопит, по-поросячьи взвизгивая и колошматя тарелки. — Напились моей крови, вампиры! Чуть что — сразу Зюскин, кто у нас персонаж Достоевского, кто у нас Смердяков? — Да, конечно же, Зюскин! Телевизор свой врубят — Зюскин, смотри, болей за наш «Локомотив», а я ваш футбол ненавижу! Смеетесь надо мной

— приехал человек из Пензы в почти сорок лет писателем становиться. Признать талант, который уже признан, не трудно, а вы попробуйте поверить в мой талант! И запомните мою фамилию: я Зюскин, а не Зюскинд! Роман! Сергеевич! Зюскин!..

— Утю-тю-тю, вон как мы запищали, — с изумлением молвил Самохин, делая возроптавшему Зюскинду козу и собираясь потрепать его за мягкий безвольный подбородок.

Зюскинд нож схватил, лежавший на столе, и, потрясая им, провыл: «Не подходи!» На него было жалко смотреть.

Увечные драки в нашем доме — не редкость. А по весне эти сукины дети, терзаемые непризнанностью, безлюбьем, безысходностью, выпрыгивают из окна. Здесь все вопиет о немеркнущем соблазне суицида: решетки на окнах верхних этажей, металлические сетки, что натянуты в лестничных пролетах. Проблема в том, что нас здесь слишком много. Нас пятьсот человек из самых разных уголков огромной страны, пятьсот неудачников, мнящих себя гениями, пятьсот одиночеств, живущих впроголодь на нищенскую государственную стипендию и деньги, присылаемые родителями из дома. Мир способен

переварить пару-тройку сумасшедших гениев и две дюжины крепких литераторов-ремесленников — остальные жители писательского дома обречены на полную безвестность и прозябание в ничтожестве.

— …Это, ребзя, еще что? — сказал нам Самохин, когда мы вышли в коридор. — Он у меня по ночам с марсианами на контакт выходит, ей-богу не вру. Они его, марсиане, как он говорит, с собой обещали забрать. Кащенко отдыхает. Того и гляди, что ножик однажды мне в спину воткнет, а с марсиан и взятки гладки. Как там у Самойлова — «Этот город полон психов, каждый третий точно псих, говори со мною тихо, может, я один из них».

— «Не считай себя умнее и не торопись узнать, — довершаю я, — кто из нас быстрей успеет бритву острую достать».

— Что, Димон, — переходит к другой теме Самохин, обращаясь к Татчуку, — достанутся тебе пять тысяч дармовых премиальных гринов, как думаешь?

— А кому же еще, если не мне?

Откуда в нем такая несокрушимая уверенность?.. Когда он был мал, богато обустроенная детская вращалась вокруг него частной вселенной (с картой звездного неба на потолке, с

беззаветно преданными своему хозяину плюшевыми зверьми), а потом этот надраенный до блеска космос расширился до размеров трехкомнатной квартиры, улицы, школы, страны, и не было ни уголка, в котором бы ему недоставало родительской любви — любви, подкрепленной родительскими возможностями. Внешний мир без промедления выходил навстречу самым диким его запросам, и, привыкнув к такому раскладу, мой сосед как будто самую реальность умудрился заставить соответствовать его представлениям о ней. В этом, собственно, и заключался его главный дар — заставлять весь мир играть огромный, с грандиозным бюджетом спектакль, в котором он, Татчук, — наследный принц и будущий властитель всей земли, а все люди вокруг — его слуги и безликие статисты, роль которых сводится к тому, чтоб оказать хозяину посильную услугу и исчезнуть из его жизни навсегда. Лишь с поставками свежего воздуха у мира иногда бывают перебои: мой сосед — хронический астматик и временами прибегает к помощи баснословно дорогого ингалятора.

Возвращаемся в комнату. Раздевшись до пояса и откупорив бутылку, он всецело отдается ежевечернему ритуалу самолюбования. Пожалуй,

ничто не доставляет ему такого же удовольствия, как дефиле с голым торсом по комнате. Он склонен столетиями простаивать перед зеркалом, разглядывая собственное возлюбленное отражение во всех возможных ракурсах и позах и наслаждаясь видом своих мускулов, что упруго бугрятся под атласистой кожей. Нарциссизм его закономерен, правомочен, но иногда выбешивает.

— Ты посмотри, какие у меня здесь кубики, — говорит он мне, почтительно поглаживая свой твердый, как стиральная доска, живот. — Можешь даже потрогать. Нет, ты потрогай, потрогай — настаивает он, негодуя из-за моего преступного равнодушия к безупречности его восхитительного пресса.

Из-за этих его сексуальных домогательств — если можно так выразиться — к самому себе я выхожу из комнаты как будто для того, чтоб покурить, и натыкаюсь в коридоре на такого же бесприютного Зюскинда.

О, как же мне с ним перло, с моим ангелом-хранителем, великим и неуязвимым Татчуком!.. С того самого дня, когда по дороге в Москву у меня умыкнули наручную сумку с деньгами и паспортом и я был в совершенном отчаянии

— теперь ни прописаться, ни зачислиться на курс… и вдруг возвращается он (выходил из купе, чтобы выбросить мусор) и протягивает чудом обнаруженное мое портмоне — без денег, но зато с книжкой паспорта. (Похитители скинули его в мусорный бачок.) «Что бы ты без меня делал? — говорит. — Возвращаю тебе имя, личность и будущее — цени…» И пошло-поехало. Журнал «Архитектура и градостроительство», триста долларов за выполнение редакторских функций в месяц — деньги, о которых провинциал-первокурсник может лишь мечтать. Милицейские курсанты, что нашли во внутреннем кармане моей брезентовой сумки крошево сансимильи, но почему-то в последний момент сжалились и отпустили, удовольствовавшись смехотворной взяткой в полторы тысячи рублей. Наши фото с ним на первой полосе одного лакового журнала под шапкой «Наше будущее все». И, конечно же, девицы, что слетались на манящий взор Татчука, будто мотыльки на свет, и — о, чудо! — вдруг порой переключали благосклонное свое внимание и на меня. Все победы, все деньги, все публикации, все счастливые избавления от беды выпадают, достаются мне будто вследствие нахождения рядом с ним, и я с ужасом представляю,

что будет, если это божество однажды вздумает отвернуться от меня.

Возвращаюсь назад.

— Не хватит ли тебе уже стучать по клавишам? — начинает он, кивая на мой древний, как останки петикантропа, компьютер. — Мне ведь тоже нужна новая повесть. Я уже придумал для нее прекрасное название. «Точка невозврата», как тебе?

— И о чем же будет эта «Точка…»?

— Я еще не закончил обдумывать… А пока примерно так: в Венеции живут два друга, один — аристократ, хотя и обедневший: он работает моделью у ведущих дизайнеров одежды и одновременно пишет блистательные стихи, а второй — жалкий Горлум, шепелявая тень, раздираемый ревностью к непрестанным успехам товарища.

Так вот оно, значит, как — настигло меня осознание. Наше с ним совместное бытование, что представлялось мне недавно идеальным симбиозом, на самом деле — чистейшей воды вампиризм. Я-то, бедный, полагал, что он делится со мной своим неиссякаемым везением — бескорыстно, с той солнечной щедростью, что заповедована всем любимцам богов… О, душевное убожество мое, о врожденное рабство — я

почувствовал себя как тот холуй, что сначала был допущен к барскому столу и которому сейчас указали на место.

— И вот однажды этот самый Горлум замышляет убийство, ему кажется, что убийством Мартына — так мы назовем первого героя — он сможет разрешить свои многочисленные проблемы и что, когда его соперник будет устранен, удача наконец-то улыбнется ему. Но когда хитроумно задуманное убийство осуществляется, наш Горлум понимает, что со смертью Мартына жизнь его потеряла всякий смысл. Горлум сходит с ума, начинает видеть в разных людях, встреченных на улице, черты предательски убитого им господина; он бросается к людям, окликая их именем, которого они не знают; он начинает верить в то, что Мартын по-прежнему жив и лишь наказывает Горлума своим временным отсутствием… Короче, в итоге он кончает безумием. Как тебе сюжет?

Значит, друг мой Мартын, ты считаешь, что мое предназначение на этой земле сводится к тому, чтоб быть твоим придворным карликом, твоей обезьяной?

— Где-то я уже это слышал, — отвечаю автоматически.

— Вот вечно ты так! — взрывается он. — Когда пишешь ты сам, то слюной изойдешь, доказывая оригинальность собственного замысла… И потом тебе не кажется, что ты не способен генерировать оригинальные идеи? Может быть, тебя поэтому до сих пор и не печатают в издательствах?

— А тебя почему до сих пор еще не…?

— Потому что ты ленивая, *неблагодарная* бестолочь.

Я задрожал, как борзая на сворках, в предчувствии драки. Сейчас я наконец-то знал, чего хочу. Хочу увидеть страх его в глазах. Да даже и не страх, а хоть какое-то сомнение в своем всегдашнем праве требовать и получать все, что ему ни вздумается.

— Слушай, — сказал я, закурив и трепеща от догадки, снизошедшей на меня, как озарение, — твой сюжет неплох, но он мне кажется не очень-то реалистичным. Предлагаю кое-что подправить.

— При мне нельзя курить, скотина, ты забыл? А ну-ка выбрось сигарету сейчас же!

— На мой взгляд, — продолжал я, затягиваясь, — таланты между твоими героями распределяются не то чтобы несправедливо, а скорее, попросту недостоверно, нежизненно. Один с неслыханной

щедростью наделен всеми дарами: он и красив, как бог, и гениален, как Данте, конечно, бывает такое и в жизни, но в книге это будет смотреться слишком схематично.

— Выбрось, я сказал! — Он пошел на меня, но закашлялся и был вынужден схватиться за свой ингалятор и впиться в него побелевшими губами.

— А вот если твой блистательный Мартын и двух слов неспособен на бумаге связать и терзается своим творческим бесплодием, то тогда другое дело… Мы мгновенно разрушаем плоскость нашего повествования и выходим на подлинную глубину…

Продышавшись, он меня ударил… Я ответил, вдруг увидев пред собой овцу, приведенную на убой, и своим ударом будто вбил в него чувство окончания жизни. Он вдруг ойкнул изумленно и закинул голову: я увидел рыбу, что оставила положенный ей водный слой и всплыла на поверхность с разорванным брюхом. Я увидел его настоящего — изнуренного и обессиленного собственной удачливостью, до распада личности раскормленного приносимыми ему дарами; жизнь его, летевшая все вверх и вверх как будто по блестящим рельсам, вдруг, достигнув пика,

покатилась под откос. Я стоял перед ним, закаленный поражениями, привыкший к ним, как волк к бескормице и холоду, и лицо мое имело жесткость и непроницаемость языческого идола.

— Ты за это ответишь! — прогнусил он, зажимая перебитый нос, но звучало это так, как если бы он вопрошал «Что же это такое со мной?». Что-то с ним произошло, слишком глубокое, слишком серьезное для того, чтобы прорваться на поверхность протестующим криком или проявиться в конвульсивной дрожи отказавшихся повиноваться членов. Я попал в наиболее уязвимое место его защитной оболочки, я нарушил герметичность, и космически холодная, неумолимая, безразличная к отдельному человеческому «я» реальность хлынула в пробитую дыру, наполняя душу моего соседа пониманием, что отныне ничего не гарантировано. «Господи, — взмолился он, — неужели я теперь — один из вас?»

Мой сосед надолго замолчал, и я курил теперь, не выходя из комнаты. Едва я появлялся на пороге, он вставал и выходил из комнаты. Один только черт ведает, где Татчук пропадал каждый день столько времени; могу только сказать, что многие студенты видели его гуляющим по Руставели в одиночестве — идущим вдоль стереотипных

серых зданий, цвет которых отзывается во рту тошнотворным привкусом электролита, меди, тухлых яиц и густым зловонием сжигаемых автомобильных покрышек. Каково ему было там одному, в этом преддверии ада — не роскошного, с геенной огненной и непрестанными вулканическими извержениями, а унылого, несносно будничного, напоминающего старую чугунную ванну с копошащимися в ней пауками?

С каждым днем я ощущал как будто бы все большее расширение своего бытия и такое же стремительное сжатие, усыхание жизнеспособности соседа.

Восхищенные «прелестным мальчиком» женщины-начальницы из «Профиля» вдруг потребовали от него предварительной демонстрации литературных способностей, и с тестовой статьей на тему «О пользе курения» он с треском не совладал.

У жюри, что разбирало поданные на премию романы, вдруг возникли, по слухам, сомнения в авторстве Татчука (уж слишком зрелым, безупречным, превосходящим уровень двадцатилетнего было представленное произведение), и, не делая скандала, оно предпочло объявить победителем куда более скромного претендента.

Родители вдруг напрочь отказали Татчуку в щедром денежном содержании, и лишь только теперь и открылась мне подлинная картина: само его появление три года назад в нашей заштатной новошахтинской школе было следствием развода родителей, у каждого из коих к тому времени была уже другая, новая семья, а теперь еще и появилось по другому, новому ребенку.

Безграничное обожание в затравленных взглядах, которыми наши студентки провожали Татчука, вдруг оказалось не чем иным, как плохо скрываемым страхом при виде городского сумасшедшего, так он вдруг стал вести себя робко, бормоча при этом что-то несусветно глупое и бессвязное.

И сама его фамилия, Татчук, вдруг представилась мне варварским нагромождением согласных; в самом деле, можно подумать, что у Господа не нашлось более подходящего фонетического материала и он впопыхах сколотил грандиозный собор из обломков деревянного сортира. То ли дело моя — Бессонов — по всеобщему признанию, фамилия будущего классика.

Да и вообще, сказать по правде, мне стало как-то не до него; слишком много появилось *не зависящих* от Татчука обстоятельств и наметилось

событий, так что мне его невольно даже жалко стало, на такое расстояние и на самый край моих потребностей, страхов, упований он отошел. Ну, во-первых, я погряз в любви, познакомившись на ВВЦ с одним бесенком в юбке, чье лицо одновременно и захлестывало твое горло, как петля, и потешно щекотало душу, будто мокрый песий нос. И все было даст ист фантастиш (с катанием на поезде по монорельсовой дороге, с пошловато-романтичным воспарением над Останкинским парком и Шереметевским дворцом) до тех пор, пока моя зазноба не ступила на порог нашей общежитской комнаты. Когда возвратился Татчук, подруга моя уже лезла мне ладонью под рубашку, уже прилаживалась к губам, так что должен сказать, что сосед мой вернулся крайне некстати. Он уселся с нами третьим за стол, я плеснул ему на полпальца вина, а зазноба моя, не стесняясь нимало, продолжила начатое; я поглядел в лицо закаменевшему, напрягшемуся Татчуку, мысленно послал ему последнее «прости» и впустил в свой рот проворный и настойчивый язычок, который бы не сильно удивил, окажись он по-змеиному раздвоенным.

— Грязная шлюха! — вдруг прошипел он, заставив нас отпрянуть друг от друга, вскочил,

заметался по комнате и принялся кричать, что не потерпит подобного непотребства, что это его, татчуковская, комната и никто не смеет здесь устраивать животную случку.

— Убирайтесь! — кричал он. — Если вы не уберетесь, я пойду к коменданту!

Я поднялся рывком, сжимая руку в кулак, но, когда Татчук зашелся в кашле, шаря по карманам в поисках своего ингалятора, рука моя разжалась, и, недолго поколебавшись, я не тронул его даже пальцем.

Когда вернулся, проводив ее, Татчук впервые после долгого молчания со мной заговорил.

— Мне плохо, — силился выдавить он, — у меня беда. Меня, по всей видимости, выкинут из института.

— Да ладно, с чего это вдруг?

— Не делай вид, что ничего не понимаешь. Мне срочно нужен новый — хотя бы рассказ. Если я не сдам его к началу мая, то Урусов меня отчислит.

Ладно, настала наилучшая минута для того, чтобы признаться во всем. Татчук вдруг резко начал отвратительно, до убогости плоско писать. «Даже странно, — говорили мне студенты, — что он умудрился написать на первом курсе такую сильную повесть. Может, он не сам писал, как

думаешь?» А я лишь хмыкал неопределенно и пожимал плечами. Ну, не кричать же было мне во всеуслышание, что это я тогда слабал за Татчука ту самую нашумевшую повесть. Помог, подправил, целиком переписал. Ну, неразлейвода мы были с ним тогда, и верил я, как идиот, что все, к чему Татчук ни прикоснется, обратится в золото. Мы как будто с ним обменивались силой: я дарил ему расставленные в наилучшем порядке слова, а он мне — избавление от комплекса задрота, ощущение неуязвимости, гарантированность нашей общей, сдвоенной победы.

— Нет, — сказал я, — хватит. Дальше сам.

— Не могу, — вытолкнул он.

— Не можешь — переведись в другой институт, это не проблема.

— Не хочу в другой, я там не справлюсь.

— А чего же ты хочешь? Быть писателем?.. И потом, не в этом дело. Ты думаешь, Урусов такой идиот и ничего до сих пор не прочухал? Он мне тут на днях намекнул, что наши с тобой стили поразительно похожи. Чуешь, чем пахнет? Еще один подлог, и мы вылетим вместе за милую душу.

— Ну, в последний раз! — взмолился он.

— Этот раз действительно окажется для нас

последним.

— Ну, тогда я пойду к Урусову и все расскажу. И ты тоже будешь отчислен. А если напишешь рассказ, у тебя сохраняются хоть какие-то шансы.

— Отлично, — говорю, — иди и расскажи.

Он оставил мольбы, но я спинным мозгом предчувствовал: он что-то готовит. Само соседство его сделалось нестерпимым: если прежнего Татчука, венценосного, всемогущего, я мог еще хоть как-то выносить, то этого, нынешнего, — был не в силах. Из щедрого и милосердного бога моего бытия он превратился в непосильную обузу. Преследовал глазами, умолял, а куда мне было деваться, если шесть как минимум часов мы каждый день с ним проводили вместе.

Я угадал: через неделю он выкинул такой безумный фортель, что я до ночи приходил в себя, не в силах избавиться от нахлынувшего бешенства.

— Месяц назад, — собравшись с духом, заявил он, — ты сломал мне нос. У меня теперь повреждена носовая перегородка, из-за этого мне трудно дышать. Второе: мой нос неправильно сросся, и из-за этого со мной никто не желает… дружить.

Я воззрился на его ничуть не изменившийся нос. Замечательный, выдающийся, патрицианский носище. Правда, вид у соседа какой-то

больной: щеки ввалившиеся, под стеклянными глазами — темные круги.

— Необходима пластическая операция. Она стоит десять тысяч долларов. Мне больше совершенно не к кому обратиться. Если ты не согласишься мне помочь, я тебя посажу. Я в суд подам за нанесение увечий — у меня на этот счет имеется соответствующая справка.

— Деньги там, — кивнул я, — в верхнем ящике письменного стола. Ровно десять тысяч.

— Мне не до шуток. Пусть твои родители продадут квартиру. Ты должен понять меня: рушится моя жизнь, у меня не осталось иного выбора. А ты сядешь — я тебе обещаю.

Травма носа — как теория всемирного заговора, существование которого нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть: пока ты веришь в него, он есть. Но какая же при этом цель блажится ему и на что должны пойти вымогаемые десять тысяч? На взятку кому, на оплату чего? Бог ты мой, он оказался настолько беспомощным, что уверовал в эти фантастические тысячи будто в панацею, что поможет ему возродиться из пепла. То, что нормальным людям (нам, общажным жителям) — комариный укус, ему — смертельное удушье. Для нас отсутствие работы, безденежье,

непризнанность — воздух, которым мы дышим; для него — знак того, что жизнь кончена раз и навсегда.

— Слушай, ты! — заорал я. — Еще одно слово, и я твой нос на место вправлю! Пусть это твои родители продадут свою квартиру и расщедрятся на правку носа для любимого сыночка! Ты, наверное, у нас не сирота казанская, а?

— Родители не могут дать мне денег, — глухо отвечал он, как будто родители у него вчера умерли.

— Это почему еще? — поразился я. — Они ж у тебя не последние люди. Три года катался как сыр в масле, живя на присылаемые денежки, а теперь что?

— Моим родителям не до меня. Они развелись, и я оказался лишним. Я не могу довольствоваться их помощью по остаточному принципу.

— И хочешь удовольствоваться моей? — загромыхал я. — Я тебе эти десять тысяч высру, что ли? Да и вообще, приди в себя, очнись: зачем они тебе? Что ты с ними делать будешь? Уедешь в Америку? Вложишь в акции «Газпрома» и через год получишь дивидендов на миллион?..

— Я тебя предупредил: или десять тысяч, или я подаю заявление в суд.

— Да хоть в Европейский! По правам человека! — Я вышел в коридор и что есть силы хлопнул дверью. Ну что мне с ним делать, с таким? Сколько можно соскребать его со стен? Разве можно с ним как с человеком? Выпить водки и сказать ему словами нищего бездомного русского поэта, умершего в изгнании: «Холодно бродить по свету — холодней лежать в гробу. Помни это, помни это, не кляни свою судьбу»? Не поймет он. Все равно, что объяснять, что хлеб — это хлеб… Подсознательно я понимал — он пропадает. Нужно было что-то делать, бить тревогу. Своим прежним чванством он не то чтобы нажил себе многих врагов, а, скорее, никого себе не нажил — лишь равнодушных созерцателей своего падения. Так что я был единственным, на кого он мог рассчитывать. Вот сейчас я пойду и скажу ему: ты чего же это творишь? Ты здоров и силен, как бык, молод, неглуп, образован, смазлив — тебе бы только жить и радоваться, загребать жар из печки обеими руками, а ты вместо этого что?

Возвращаюсь и вижу: он стоит у моего компьютера. Я завыл, как раненый зверь, рванулся, но поздно: он успел уже одним нажатием в небытие послать мой лучший текст — полгода полуночных бдений, напряженного, усильного

постоянства… Убью урода! Я схватил со стола керамическую кружку и швырнул в него, метя в голову, не попал, высадил стекло в двойной оконной раме. Пошел к коменданту.

— Вы же вроде земляки, — сказал, мне комендант. — Чего ж поцапались? А свободных мест сейчас у меня в комнатах нет. Если хочешь отселиться, договаривайся сам: может, кто-нибудь желает поменяться соседями.

Поменяться соседями, а вернее, заселиться в одну комнату с Татчуком не желал никто.

По утрам складки простыни на моей кровати сложены в иероглиф мучения от бессонницы. Проблема в том, что этот двинутый приобрел отвратную привычку подниматься по ночам. Он встает и бродит по комнате, как сомнамбула. Мои нервы натянуты струнами, а Татчук будто водит по ним смычком. Ощущение такое, что он украдкой встает и бесшумно, на цыпочках, подкрадывается ко мне. Может статься, что с подушкой или бритвой в руке. Я постоянно жду удара в спину — того или иного рода. Нам, похоже, обоим нужно лечиться. Награди меня жизнь бесстрастностью санитара психиатрической лечебницы, я бы бил его смертным боем. Но я вынужден копировать на дискеты все компьютерные файлы и прятать

их в ящик стола под замок, Так не может больше продолжаться, — говорю я себе. Но это продолжается и продолжается.

Однажды возвращаюсь и слышу через дверь, как он с кем-то разговаривает по мобильнику. (Да с бабкой своей, с кем же еще? С единственной живой душой на белом свете, готовой выслушивать его причитания.)

— Я подал исковое заявление в суд, — сообщает он бабуле, — и теперь ему уже не отвертеться. Ты не знаешь, сколько времени отнимает рассмотрение? Не могу больше ждать. Ты представляешь себе, этот жалкий задохлик умудрился устроиться копирайтером в издательстве и получает пятьсот долларов в месяц. А еще у него выходит книга. Но я не дам ему торжествовать, в то время как моя жизнь летит под откос. Я хочу, чтобы он жил в постоянном страхе. Я довольно удачно имитирую сумасшествие и думаю, что он скоро не выдержит, сломается и захочет мне помочь. Пусть моя жизнь полностью провалилась, но и он тогда тем более не должен ничего достичь.

Холодею от ярости. И в здравом уме, и в горячечном бреду, и в холодном презрении ко мне, и в бешеной зависти моим последним успехам он вцепляется в меня клещом и не отцепится,

пока вдосталь не напьется моей теплой крови. Горбатого, похоже, действительно только могила исправит… Ну, ничего, профессор Бессонов сегодня прибегнет к методу шоковой терапии. Он покажет тебе кое-что такое, по сравнению с чем твои нынешние страдания обратятся в пшик.

Поздним вечером, когда Татчук на минуту отлучается в уборную, я прибираю к рукам его ингалятор и прячу его в верхний ящик письменного стола. Потом, поколебавшись, запираю ящик на замок и выбрасываю ключ в форточку.

— Настало время серьезно поговорить, — говорю, когда он возвращается. — Пора тебе отправляться домой. Чаша моего терпения переполнилась, дружок, предлагаю тебе без скандалов собрать свои вещички и по-тихому отвалить в наш родной Новошахтинск. Короче, рассказал я Урусову все, про то, что рассказы за тебя писал, — старик пожурил меня ласково и сказал, что приказ о твоем отчислении будет подписан на днях.

— Нет, ты не можешь! — взмолился он. — Мне так необходимо это место… — он вдруг преобразился, распрямился, надулся, как индюк, как будто возвратившееся чувство собственного достоинства распирало его изнутри… стал мерить

шагами комнату, а я с холодным любопытством наблюдал за его метаниями, испытав вдруг какой-то охотничий азарт и почувствовав полнейшее свое, несносно-возмутительное здоровье, свою способность уничтожить, раздавить его, как вошь.

— Татчу-у-ук, — сказал я предостерегающе. — Твой поезд ушел.

Татчук, зашедшись в кашле, рывком повернулся ко мне, лицо его побагровело, глазищи стали умоляюще огромными — как у святого на иконе, как у быка на бойне. Сперва он ничего не понимал и, со стола сбивая кружки и стаканы, исследовал одну поверхность за другой, набрасываясь на вещи со все большим неистовством и нигде не находя своей дорогостоящей швейцарской панацеи.

— Это ты?! ты?! Отдай немедленно, верни, отдай… будь человеком, ты не можешь… Мне больно, очень больно, больно дышать, я не могу, Сереженька, прости, ну, хочешь я перед тобой, пожалуйста, я же сдохну сейчас, ну прости меня, прости. — Он хрипел, задыхался, выкашливал слова, не мог удержать равновесие, шагнул вперед, ко мне и, пошатнувшись, принужден был упереться в стол, и рука его, должно быть, погру-

зилась в дерево столешницы, как в воду.

Я продолжал сидеть в звенящем отупении, себе как будто не принадлежа; я действовал с той сладострастной отрешенностью, с которой жестокий ребенок препарирует изловленного на подоконнике шмеля, иголкой пробуя брюшко на прочность и заставляя бархатистое тельце насекомого вдруг брызнуть светлым гноем, будто перезрелый прыщ. Я очутился в точке невозврата, молчания любви, и это было столь же приятно и мучительно, как возвращение назад, в горячее и тесное беспамятство утробы. Но вдруг как будто что-то дернуло меня за волосы, и, содрогнувшись от тяжести наносимого мной миру оскорбления, я хлопнул себя по лбу со вполне членораздельным вопрошанием «Да что же это я делаю?». Сцапал кухонный нож и ринулся ломать замок, картонную перегородку… извлек несчастный спрей и бросился поить соседа, как лежачего больного из носика чайника.

— Давай, давай, — подбадривал я его. — Не надо быть талантливым, не надо умным-честным-благородным, достаточно просто живым. Кто мы, в конце концов, такие, чтобы отказывать друг другу в праве на существование?

…Через день его нашли в угловой кабине туа-

лета, расположенного в левом крыле. Он сжимал в руке пустую коробку из-под снотворного. По какой-то кощунственной, бесчеловечной насмешке судьбы он лежал как раз под кем-то жирно выведенной надписью — «ТЫ БЕСПОЛЕЗЕН».

Широко распространен тот случай, когда близкие начинают терзаться чувством вины перед безвременно ушедшим из жизни покойником, и пока бездыханное, не могущее ничего возразить, ко всему равнодушное дело костенеет в гробу, все знакомые самоубийцы произносят покаянные речи. Создается светлый, обеленный муками образ покойного, который мало что имеет общего с настоящим, живым человеком, которого ты знал. Вот так и мы, студенты знаменитого профессора Урусова, собравшись во дворе общаги, говорим о том, что был действительно талантлив, что глубоко переживал постигший его кризис, был ранимой душой, а мы пренебрегли, покинули, не замечали, сосредоточенными будучи лишь на себе. Покаяние длится, впрочем, недолго (жаркий май, шелестят клейкие листочки, горячий воздух туг, как резиновый мяч, и сейчас мы поедем уже на Савеловский, чтоб играть там в футбол), и вот уже бросается как будто невзначай, что нечего терзаться угрызениями из-за чьей-то чужой

легкомысленности и что сам, по сути, парень виноват. «Это был в чистом виде страх перед жизнью», — констатирует кто-то.

Я стою и пытаюсь найти, нащупать ту точку, из которой еще можно было нам с ним вернуться назад, но гнев, или зависть, или душеубийственное равнодушие затопили рассудок и, подхватив нас, понесли к финалу, будто щепки в половодье. Я не могу ее найти, увидеть эту точку, и больше для порядка, пока еще не веря истинно в неотразимую реальность вышнего суда, украдкой ухожу в сторонку от собравшихся и бормочу под нос почти беззвучно: «Господи, прости».

Часть 4
Война и мир

Мастер Чэнь
Пальто с запахом земли
Березовая Роща

— Этот тип так и не снял пальто, между прочим, — сказала девица, наслаждаясь моим смущением. — В первый раз делаю это с перцем в пальто. Старом таком пальто, отстойном.

Пальто на двадцатипятиградусной жаре, в разгар удушливого московского лета? Я начал понимать моего клиента — мать этого невзрослого создания. Когда у девочки фантазия разыгрывается до такой степени, то понять ее могут разве что подруги. Но никоим образом не мать. Для матери ребенок остается ребенком — даже если этот ребенок вырабатывает привычку говорить о сексе с некоторой усталостью. В итоге я получаю звонок со словами: «Доктор, мне нужно знать — нормальному человеку может такое прийти в голову?»

Вот только там, где можно обмануть и не без удовольствия напугать собственную мать, не обманешь психиатра. Профессионалу не так сложно понять, когда перезревший подросток

фантазирует, или — когда фантазирует, свято веря в свои слова, или — просто…

Просто рассказывает то, что было.

— Ты и матери про это сообщила? Про пальто? — угрюмо поинтересовался я. — Ты хоть понимаешь, что нормальный человек в такое не поверит? За окно посмотри — асфальт плавится. А тут секс в пальто. Хорошо, что не зимнем. Думать надо, что можно матери говорить, а что нельзя. А в дурдом не хочешь, чтобы она тебя туда после этого отправила?

— Ах, вот что вы здесь делаете, — протянула она, рассматривая меня. — Диагноз ставите, значит. Так поехали в дурдом. Запасные стринги только в кармашек положу, и…

Она изобразила ладошкой, как пропеллером над головой, мигающую сирену на крыше чумовоза с красным крестом.

Большая часть моих доходов (строго частных и укрываемых от налогообложения) приходит от матерей-одиночек, не способных поверить, что их дитя не просто выросло, а выросло грубо, некрасиво, и думает о том, чтобы бросить мать на кухонный стол лицом вниз, если это мальчик… Или, если это девочка, то мать превращается в злобное и тупое препятствие к очень физическим

мечтам.

Но одно дело — классические подростковые фантазии, даже находящиеся на грани патологии (а они всегда там находятся), и совсем другое — то, что я сейчас услышал. Движения глаз, тембр голоса и внутренняя логика самого рассказа девицы — все говорило об отсутствии малейшей фантазии. Да, договорилась за пятьсот рублей с мужиком в Березовой роще, идущей от метро «Полежаевская» к Песчаной площади. Да, пошла с ним на край рощи, помахала перед его носом вытащенным из собственного кармана презервативом. И потом вдыхала плесневело-земляной запах серого пальто, скорее даже плаща, в котором мужик почему-то все время оставался, несмотря на жару.

— Ведь убить мог, — укоризненно сказал я.

— Он нормальный, — убежденно отвечала девица. — Потрахаться захотел. А потом, это я его нашла. По глазам. Они были такие…

— Напомни, лет тебе сколько? — укоризненно спросил я.

— А что, если пятнадцать, то еще не должно хотеться? — широко раскрыла она накрашенные глаза. — Ой, а я не знала. Мама забыла сообщить.

— Так, объясняю ситуацию, — деревянным

голосом сказал я. — Если не будешь думать, что матери можно говорить, а что нет — увезут в дурдом ее, а не тебя.

— Так ведь давно пора, — сладким голосом отозвалось юное создание, с омерзением рассматривая мою неаккуратную бороду и спортивные штаны с пузырями на коленях.

— Минуточку, тогда я остаюсь без клиента, а это значит, ты подрываешь мой бизнес. Лечить надо не тебя, а твою мать, потому что она мне звонит и плачет: посмотрите девочку, она говорит жуткие вещи. Нормальна девочка или нет? Мать надо сейчас успокоить, а то крышеотъезд гарантирован. Ей, а не тебе. Врубилась в ситуацию? Давай договариваться: ты все это придумала. Что сказать матери — я разберусь сам. Скажу, что ты пока нормальна, хотя требуется наблюдение. А ты — молчишь про секс в пальто. А заодно рассказываешь мне, что это за мужик… то есть «перец»… который летом в таком виде ходит. Потому что на самом деле мне он интересен, а не ты. Зачем нам маньяки на Песчаных улицах?

— Дяденька, сами вы маньяк, — с удовольствием сказала дочь моей клиентки. — Он здоровый, длинный, веселый, волосы такие выцветшие. Молодой пока. Загорелый, вроде рабочего, что

ли. Может, после больницы — потому и в пальто. Глючном таком.

— Еще и в глючном. Ну, что за пальто, расскажи подробнее?

— Ткань… я никогда на ощупь раньше такую не пробовала. Не синтетика. Габардин, бостон, что-то прабабушкино. Пальто до колен. Большие пуговицы. Ну, как из музея. Пожелтевшие края. Запах, будто в земле век пролежало. Но перец — не бомж, сам чистенький, я бы с бомжем не пошла в жизни, шутите, что ли. Пахло от него самого очень даже хорошо.

— Девочка, ну вот представь себе, что ты рассказываешь. Идешь ты по аллее, видишь, что сидит на скамейке человек в пальто по жаре… ну, пусть после больницы, но все же… И что ты делаешь, повтори?

Я внимательно следил за ее зрачками и посадкой головы и плеч.

— Да ничего. Вижу пальто, вижу перца. Понимаю, что хочу трахаться. Делаю ему глазки, очень смущаюсь — как школьница.

— Ты и есть школьница, — напомнил я.

— Ну, я вся такая переразвитая, — лениво отозвалась она. — Вот, а дальше все просто.

Я вздохнул, мысленно поставил диагноз:

подростковая гиперсексуальность на фоне неразвитой личности, без патологии по моей — психиатрической — части. И еще я понял, что желание изводить мать у девицы на сегодня исчерпано.

— Так, в итоге решаем: мы все это придумали и больше не рассказываем. Мать отдыхает, а ты, девочка, если вдруг действительно пойдут глюки или жить станет в целом совсем погано, звони, это все лечится. Я серьезно. С деньгами потом будем разбираться, медленно, а с глюками надо быстро.

— Доктор Глюк, — сказала девица, кидая тоскливый взгляд на кухонную раковину с грязной посудой.

…В Березовую рощу я забрел, просто чтобы подышать воздухом и спрятаться от жары. Ну, и немножко подумать.

Белки с закатом солнца затихли в ветвях вязов, разочарованные этим спаниели и доберманы повели хозяев домой, но пенсионеры на своем привычном месте еще достукивали костями домино.

Я окинул взглядом темнеющий парк. Заклеила перца эта девица где-то неподалеку отсюда и пошла с ним в самую глухую часть рощи, где до

сих пор не расчистили бурелом после страшного московского урагана 1998 года. Неразвитая личность — это такая, которая просто не может предположить, что с ней может сделать совершенно незнакомый человек, который ходит в пальто на жаре.

А, стоп, по ее словам, пальто он, пока шел с ней, держал на руке (жарко), но надел его снова перед тем, как уложить девицу на бетонную плиту, забирая из ее пальцев презерватив и заворачивая ее сверхкороткую юбку.

Она это не придумала — факт. А раз так, то молодой человек меня беспокоил, здесь пахло чем-то посерьезнее обычного фетишиста.

…Опорный пункт милиции находится на той же Третьей Песчаной улице, по другую сторону от Березовой рощи — дыра в выкрашенной жирной, блестящей, коричневой краской стене. Дыра ведет вниз, в полуподвал, в короткий коридор. Отделано тут все в лучших традициях брежневского конторского стиля: копеечные стенные панели фальшивого дерева, сморщенный линолеум, изображающий пол красного дерева, крашенные белым решетки на окнах.

— Маньяки? Давно не было, — уверенно сказал участковый инспектор с прекрасной фамилией

Пуля. — Конечно, хорошо, что вы пришли. Но состава преступления не вижу. Ну, малолетняя. Но если сама его повела… Ходить летом в пальто не запрещено. Что еще? А ничего. Но вообще-то можно и поспрашивать по дворам. Этакая зарядка для хвоста. Заходите через недельку — хоть вы и частный, а все же доктор, значит, знаете, о чем говорите, — с неодобрением закончил он.

А уже через три дня…

Мигали неестественно голубым цветом маяки милицейской машины, освещая серый горизонтальный обрубок под одеялом, медленно вплывавший в жерло «Скорой помощи». Но спутанные волосы и мокрый лоб все же мелькнули между несуразными синими пижамами санитаров: лицо открыто, значит, жива. Участковый Пуля мрачно посмотрел на меня и сообщил:

— Я чего вас просил прийти так быстро: если исход будет летательный — придется вашу малолетнюю клиентку допросить. Потому что и тут пальто. Значит, правда.

— Лучше бы я сам все с ее слов рассказал, — отозвался я, размышляя. — Больше толку будет.

— Ну, — согласился Пуля.

— Молодой, веселый, волосы выгорели на солнце, загорелый, длинный? — перечислил я.

— Ничего подобного. Не длинный. Пальто совсем по земле волочилось, — удивился Пуля. — Пострадавшая говорит, странное такое пальто — сталинское, типа. А так — может, и молодой, и загорелый, и веселый… И чего ему не веселиться — грохнул девушку по голове, веселее не бывает… Дырку в черепе теперь будут сверлить, наверное — травма серьезная. Сначала она на него, говорит, сама кинулась, а потом что-то ей не понравилось… Вот.

…В тупик следствие зашло с невероятной быстротой. Бригада из двух строителей, длинного и невысокого, мирно красившая до этого дом на углу Второй и Третьей Песчаных улиц, исчезла без следа, и больше всех был удивлен ее бригадир, который вернулся из Молдавии и не смог найти соотечественников. Доказать что-либо или обнаружить их было невозможно, потому что фотографии подозреваемых, с запозданием присланные из каких-то Ясс, годились только в мусорное ведро. Так что недокрашенный дом вернулся к спокойному сну среди клейкой листвы лип, под попискивание автомобильной сигнализации.

— Мы пальто без человека не арестуем и в розыск не объявим, — справедливо заметил мне

участковый. — Но я что еще думаю — оно явно по вашей части. Я после нашего разговора все же дедам нашего отделения позвонил — они лучше всякого архива. Думал, что могло что-то быть года два назад, когда я еще здесь не работал. Но оказалось, что было дело 1973 года. Все тут же, в Березовой роще. С другой стороны, куда еще в нашем районе девочек вести? Маньяк надевал широкую шляпу, старообразное серое пальто, ходил и выбирал девочек типа школьниц. Интересно, что те не отказывались, как будто так и надо. Приводил в какие-то полуразвалившиеся бараки у самой Ходынки. Уговаривал их надевать белые носки, школьную форму, с фартучком. А когда его все-таки повязали, угрожал, что все следователи обкакаются, если узнают, кто он есть на самом деле, хотя живет сейчас под другой фамилией. Намекал на имя высокого, очень высокого, почти высшего руководителя Коммунистической партии и Советского государства. В общем, попал он не в колонию, а в психушку — по вашей части. Оттуда не вернулся. Сегодня ему было бы лет 90. И он был местный, а вовсе не молдавский строитель. Точка. Дело закрыто. Ну, и что вы тут можете сказать?

Сказать я не мог, честно говоря, ничего. Кроме

стандартных слов типа «фетишист».

Но фетишизм не заразен, тем более — без прямого контакта, и редко бывает привязан к какой-то определенной местности.

Я взял сигарету, уселся на балконе и положил босые ноги на перила. И подумал, что живу в одном из лучших районов Москвы, где от метро «Сокол» начинается обширный треугольник Братского парка с его старинными липами, парк выходит к прямой каштановой аллее элегантного сквера, тот перетекает в сосновую рощу, а она — в знаменитую, размером с небольшой лес, Березовую рощу… Жить среди сплошных парков — какая удача! Вот только терпеть бродящих в них маньяков не хотелось бы.

Но что можно сделать? У меня (и участкового инспектора Пули) были очень странные факты.

Не один, а три маньяка, все — странно привлекательные для малолетних. Те шли за маньяками сами, с полуслова, а моя юная пациентка попросту сама на него бросилась. Сопротивляться попыталась только одна, но ведь сначала она все-таки тоже пошла за человеком в пальто, которого видела в первый раз, пошла в дальний и безлюдный угол парка. Это уже там произошло что-то, ей не понравившееся.

Да, именно три маньяка. Потому что на втором пальто доходило до земли, а на первом оно было на уровне колена. А третий уже из древней истории — но и в ней фигурирует пальто.

Это если речь об одном и том же пальто. Значит, два разных человека надевают одно и то же — да попросту, поскольку речь о молдавских строителях, одалживают друг у друга это пальто, и… И с ними начинают происходить всякие интересные вещи.

А что делать с маньяком урожая 1973-го, прости, Господи, года, который тоже «переодевался в старообразное пальто»? Старый покрой даже для начала 70-х? Это что же, 50-е? 40-е?

Сигаретный дым мирно плыл к кронам тополей, за которыми высились похожие на пряничные домики здания сероватого кирпича. Стук женских каблуков, нервный и торопливый, звонко печатал секунды на асфальте внизу.

…К участковому я пошел на следующий же день, с дурацким вопросом: нашлась ли хоть какая-то связь маньяка 1973 года с сегодняшними педофилами молдавской национальности? Естественно, связи никакой не было и быть не могло. И никто в 1973 году, понятно, не интересовался, куда делось то самое серое пальто, нужное ма-

ньяку для его выходов по девочкам. Пуля лишь вспомнил, что вроде, по материалам того давнего дела, у маньяка был целый подземный бункер, вроде забытого бомбоубежища, как раз в конце Березовой рощи. Белые носочки или верхнюю одежду милиция, конечно, могла и изъять — но в качестве вещественных доказательств могли пройти разве что носки.

— А бункер? — оживился я. — Что с ним? Где он?

— Доктор, ну какое кому дело до бункера? Мы тут когда видим такое помещение, подвал или чердак, то закрываем его, запечатываем и еще проверяем запоры время от времени. Чтобы там всякие бомжи и прочие маньяки не жили. Так и тот подвал наверняка… Запечатали и забыли. Да вот, пойдемте, я вам покажу кое-что, мы тут каждый день говорим спасибо товарищу Сталину и его министру внутренних дел Лаврентию Павловичу Берии за хорошую ментовку.

— Почему, собственно, Берии? — думая о своем, поинтересовался я.

Вместо ответа участковый торжественно провел меня вдоль по милицейскому коридору туда, где он кончался фанерной дверью. Открыл ее — и предъявил мне скрывавшуюся за ней совсем

другую дверь.

Она была сделана из тяжелого, неровного, крашенного в кроваво-бурый цвет чугуна и снабжена чем-то вроде пароходного штурвала полуметрового диаметра.

Нет, не пароходного, а сейфового. Передо мной была дверь громадного, в рост человека, сейфа, много раз покрашенного, грубо, слой на слой. Она была снабжена какими-то чугунными рычагами и тем самым штурвалообразным приспособлением, которое ее открывало.

— Это все работает? — мрачно поинтересовался я, оглядывая внушительное сооружение.

— И еще как, — подтвердил участковый Пуля. — Ключ у нас. Вот такой, весом в фунт. Хотя я могу точно сказать, что ни у кого из наших желания пойти дальше этой двери пока не возникало.

Он сделал торжественную паузу, наслаждаясь моим видом.

— Крыс-мутантов, скелетов в истлевших шинелях там не обнаружишь, — заметил, помолчав, Пуля, проводя рукой по большому, как у лошади, лицу. — Но заходить туда все равно не советую. Потому что… ну, вы, доктор, уже поняли, что это вход в бомбоубежище. А наша ментовка помещается как бы в предбаннике этого бомбоубежища.

Так вот, мы на углу Песчаной площади и Третьей Песчаной улицы. Вот мы тут входим в бомбоубежище… входим и по подземным переходам можем дойти подо всем кварталом до каштановой аллеи на вашей Второй Песчаной. Вы думаете, у вас в подъезде убежища нет? Оно просто заперто. Но если пройти в подвал, то рано или поздно вы уткнетесь вот в такую же железную дверь. А от нее ход под домами и улицами до метро «Сокол», наверное. Или до метро «Аэропорт». А там, где «Аэропорт», аэропорт и был — на бывшем Ходынском поле — и туда вела особая подземка от самого Кремля. В общем, входишь здесь, топаешь под землей, пока не надоест, там выясняешь, что заблудился, а потом начинаешь стучать вот в такую полуметровой толщины дверь — изнутри. Но открывать тебе никто не собирается. Потому что за такой дверью тебя просто не слышно, даже если есть кому слышать. Заскучать можно, да? Особенно без света?

— И что, тут по этим бомбоубежищам бродил лично товарищ Берия вместе с товарищем Сталиным? — поинтересовался я.

— Может, и не бродил. Но все Песчаные улицы, все эти кварталы из серого кирпича построены с хорошими такими бомбоубежищами, руками

немецких военнопленных. По принципу «сами разбомбили, сами отстроили». Говорят, когда в пятидесятые годы Хрущев отпускал их домой, они благодарили тут всех за то, что дали им шанс очистить совесть и уехать без камня на душе. Ну, вот, а товарищ Берия, кроме того что был министром госбезопасности и потом внутренних дел, еще и заведовал всеми лагерями военнопленных. Так что это было его хозяйство. Лучшие дома в Москве называют сталинскими. А эти — надо бы бериевскими.

— Ладно, — подвел итоги я, поднимаясь. — Берия — это интересно. Маньяка не поймаете, значит?

Пуля надрывно вздохнул и посмотрел на меня неласковым взглядом. Потом разжал губы:

— Хорошо, хоть девушка жива осталась. Говорит, когда он начал ее на какой-то поросший мхом бугор укладывать, передумала. Он ее еще просил надеть белые носки на босу ногу, как у подростка. Почему я и вспомнил про того маньяка. Носки ей не понравились — грязные. Начала отбиваться. Ну, и все. Дело можно закрывать — ни хрена больше не узнаем.

— Бугор… в конце Березовой рощи, уже у забора на Ходынку, — уверенно сказал я. — А повел ее

туда кто? Наверное, он. Это его место. Или — их место? То самое, что в 1973 году? И она сначала шла за ним, как… как под гипнозом. Ага. До встречи, участковый. Я вернусь.

— Как чего, переходи вообще в милицию. Психиатров тут ой как не хватает, — напутствовал он меня.

…Девочка Юля, как ни странно, встретила меня куда более радостно, чем ее мать, — та, видимо, не очень-то хотела мне платить еще раз. Мать лишь грустно повела рукой в сторону — как бы это помягче сказать, детской:

— У нас новый наряд короля. Не пугайтесь.

Рыжеватая девочка Юля стала угольной брюнеткой с черно-красным ртом, запястья ее теперь были увешаны металлом разной конфигурации, металл в виде креста помещался и между весьма объемистых и буквально вываливающихся из майки грудей, украшенных заодно прыщами.

— Дурдом ждет? — приветствовала она меня.

— Готы и металлисты — не диагноз, их в дурдом не сажают, — сообщил ей я. — Значит, так, дорогая: позавчера человек в пальто, пахнущем землей, проломил голову девушке. Сейчас он в розыске. Понятно, о чем я? О том, что у тебя задница уже взрослой женщины, а голова еще

подростка. И когда по такой голове бьют камнем, и мозги начинают… Ты что-то сказала?

Готическая Юля быстрым движением сунула в рот сигарету, потом вынула ее оттуда, испачканную помадой, и молча уставилась на меня.

— Надо кое-что уточнить, — сказал я, торопясь, пока не пройдет ее испуг. — Первое: кто кого вел? Ты или он?

— Он, — был мгновенный ответ. — К каменному забору.

— Так. Ты сказала — бетонная плита. Жесткая?

— Не беспокойтесь, попку не натерла, — пришла она в себя. — Там такой сверху как бы мох… То есть она вроде бетонная, но… Очень старая. Скорее как кочка в земле. Это слева от тропы, ведущей в пролом, через который выходят на Ходынку, на поле. Место мягкое. Можете попробовать. Если нужна компания, то доктору — скидка.

— И последнее. Когда ты туда шла, то… о чем думала? Что чувствовала?

— Ну, о чем о чем, о том самом, — ожила готическая Юля. — Чувствовала себя как под легким кайфом. Ну… я была маленькой девочкой, которой было очень-очень все интересно, как в первый раз, такой большой дяденька, у которого

есть такая большая штучка…

— Раньше таких мыслей не бывало?

— Раньше много чего не бывало. А сейчас — здравствуй, взрослая жизнь.

Бетонный забор, за которым рвутся в небо еще не заселенные белые башни целого нового города, выросшего буквально за год на Ходынском поле. На верхушки их ложится закат, и свежие стены их розовеют цветом «Кадиллака» в Лас-Вегасе. А левее — гордый шпиль «Триумф-паласа», самого высокого жилого дома Европы.

Но это — там, по ту сторону забора. А здесь, в забытом всеми уголке старого парка — да попросту леса — сереют сумерки; криво стоит пустая скамейка (что она тут делает — похищена с аллеи?). Сорняки и лопухи среди бугристой земли, а между ними…

Будто покрывшиеся зеленой плесенью и посеревшие шляпки груздей — чуть возвышающиеся над землей на уровне пояса или колена два бетонных козырька, косо уходящие в землю.

А дальше — еще один, уже совсем вровень с землей.

Мне показалось, что сбоку у каждого козырька есть что-то вроде полуоткрытой пасти, полузасыпанной землей. Лаз, который когда-то вел вниз?

Козырьки украшены осколками битых бутылок, колбасной шкуркой и… относительно свежим надорванным квадратиком фольги — от использованного презерватива.

Значит, здесь.

Но дальше тут делать мне уже нечего.

Сизая дымка, тропа, глушащая шаги. Из кустов бесшумно выходит кудлатая бродячая собака и смотрит на меня немигающим, почти человеческим взглядом с безопасного расстояния.

Потом делает ко мне два шага — у меня почему-то холодеет сердце — но дальше остается на месте.

…Два часа терпеливо выслушиваю поток слов кругленькой редакторши районной газеты «Сокол». Получаю предложение дать интервью на психиатрические темы — «мы это делаем со всеми замечательными людьми в нашем районе, а их тут на удивление много». Потом — о погибших на Ходынке во время коронации последнего государя, когда случилась страшная давка и трупы везли отсюда на телегах. О громадном кладбище солдат Наполеона, там, где сейчас Песчаная площадь. Но потом французские кости вывезли отсюда и выкинули неизвестно куда. О таких же вывезенных покойниках с Братского кладбища:

похоронены в годы Первой мировой, выброшены вон при товарищах Берии и Хрущеве, когда глухая московская окраина стала превращаться в новый и прекрасный город. Бункеры у края Ходынки? Это была особая территория Московского военного округа, сторожила с дальнего конца аэродром, над головами солдат взлетали самолеты с бешено крутящимися пропеллерами и тяжело шли к железной дороге, на запад. Больше — ничего интересного. Легенды об оживших персонажах прошлого? Нет… нет… знаете, ничего нет. Я бы знала.

Вышел от дамы, жадно глотая свежий воздух. Пошел по безлюдным улицам домой, среди зелени и тишины.

Парки на костях. Кладбища, которых уже нет. Недоброе имя — «Ходынка». Еще парки, пары с колясками, велосипедисты, тополя, липы. Тени кладбищ мирно дремлют среди кустов и аллей. Спите, души солдат забытых веков, спите в лучшем из районов Москвы. Вы не чужие здесь. Потому что все города стоят на костях прошлого, по всем улицам когда-то проезжали телеги, а потом и автобусы с гробами. А сегодня из распахнутых дверей балконов сверху доносятся женский смех и музыка, а с тротуара в окна можно увидеть

верхушки книжных полок и еще белые потолки, на которых ложатся круги медового света люстр. А вот котяра на форточке, мрачно смотрящий на серый асфальт внизу. Его зовут Грымзик, это соседский кот, я почти дома. И мне надо сделать один важный звонок.

— Сергей Сергеевич, как ваше драгоценное самочувствие?

— Добрый доктор, какая радость! Да отличное самочувствие. Падаю с ног, но энтузиазм так и прет из ушей. Боюсь, что как пациент я вам уже неинтересен. В общем, вы обыкновенный волшебник.

— Да вы не поверите, Сергей Сергеевич, ни малейшего волшебства. Ну, что у вас там было — одна депрессия и два невроза. А у кого же не было депрессии в 90-е годы? У меня было два пациента, которые ежедневно обсуждали со мной достоинства самоубийства и всевозможные методы. Я им не противоречил и с увлечением поддерживал разговор. А что вы хотите от орденоносного конструктора ракет, которому только что сказали, что ракет больше не надо? Петля — очевидный выход. А вас… да этим самым «Прозаком» половина Америки лечится, у которой никаких кризисов и никаких девяностых годов

не было — подумаешь, великий метод. Вот сейчас у меня пациент — просто страх и ужас. Почему вам и звоню. Вы ведь ваших архивных знаний и связей не утратили?

— Да я никуда оттуда не уходил, а сейчас заместитель директора, представьте — так что весь архив в вашем распоряжении. Но зачем он вам?

— А у меня тяжелейший случай, — продолжил импровизировать я, неся откровенный медицинский бред. — Фетишист. Насильник. Без пяти минут убийца. И с фиксацией на определенных предметах, местах и событиях прошлого. И на определенных именах. Есть у меня теория — помогите разобраться, а? Только когда я вопросы начну задавать, не подумайте, что доктор сам поехал от крыши и наискосок. Просто не поверите, какие случаи бывают.

— Вперед, — раздался в трубке радостный голос господина архивиста. — На каких исторических фетишах свихнулся ваш маньяк?

— Район между окончанием Ходынского поля и задней частью Березовой рощи — координата номер раз. Он связан с какими-то людьми и событиями, имевшими к этой части Москвы некое отношение. Причем людьми известными, историческими. Советский период. Очень высокие

лидеры партии и государства. Далее, есть фетиш в виде летнего плаща, или пальто, светло-серого, без пояса, из хорошей ткани типа тонкого габардина, на человека выше среднего роста. Кстати, попробуйте по пальто определить эпоху или стиль, чтобы мне разобраться, на ком фиксация. Не говорит, гаденыш, гордо молчит. Пальто — это координата номер два. Далее, поскольку речь идет о маньяке, то тут тоже есть маленькая особенность: как-то все связано с юными, малолетними девочками, белыми носочками и тому подобной ерундой. Вот вам третья координата. И что у нас получается на их пересечении?

— Ну, доктор, вы же интеллигентный человек и знаете свою историю. Не что, а кто получается. Вполне определенный исторический персонаж. Так, мне просто любопытно: это что, ваш маньяк надевает какое-то старообразное пальто и идет насиловать девочек в белых носках, так?

— Сергей Сергеевич, не задавайте вопросов — кто здесь психиатр? Хотя в общем, как ни странно, вы угадали, вот только еще и место почему-то имеет значение. Вот эти задворки Ходынского поля и Березовой рощи.

— Так все же понятно, дорогой вы мой. Так, сначала пальто: покрой скорее послевоенный, в

тридцатых в моде были плащи с поясом, военного вида. А вот вплоть до шестидесятых… Посмотрите на фотографии советского руководства вот в этот смутный период между Сталиным и зрелым Хрущевым — увидите штук пять таких плащей на каждом снимке. А малолетние девочки — тут уже все предельно ясно. Ну, вы же знаете, кто ими славился.

— Берия, — сумел выговорить я, глядя с балкона на темную листву парка. — Лаврентий Берия.

— Именно так. Потому что и все прочие никоим образом себе в удовольствиях не отказывали, но девочки — это уже только лично товарищ Берия. Ну, не всегда школьницы. Но тип фигуры и поведения… я профессионально выражаюсь?

— Да, абсолютно.

— Так. Черная машина — идет медленно вдоль тротуара, высматривает вот такую вот девочку с толстыми лодыжками. Выходят двое, знакомятся. По одним сведениям, просто впихивают в машину и везут в известный особняк на Садовую. Напротив Красной Пресни, если вы не знаете. По другим — все делалось несколько тоньше. Не без уговоров. А там, если надо, переодевали подросточка в школьную форму, а иногда — в балетную пачку. Сажали на диванчик и говорили: ждите.

Ну, об этом уже написано десять раз, а два месяца назад ко мне приходили телевизионщики. Сериал будут снимать. Чем я тут вас удивил?

— Место, — напомнил я. — Весь наш район построил Берия. Это я уже знаю. Он, конечно, взлетал с аэродрома на Ходынке — но садились люди в самолеты с другого конца поля. Что наш маньяк знает совсем о другом, глухом конце этого же поля? И какое это место имеет отношение к Берии?

— А знает он, — глубоко набрал воздуха архивист на том конце, — нечто такое, что вообще-то знает очень мало кто. И довольно странно, что такие вещи становятся известными каждому маньяку. Это довольно редкая информация. Что у нас сейчас на том конце поля такое помещается?

— Стройка, — сказал я. — Как и по всему чертову городу. Новые дома лезут в небеса.

— А какое здание одиноко стояло раньше на этом конце поля?

— А вслух по телефону это можно произносить? — сказал я после долгой паузы.

— Можно, после романа господина Суворова «Аквариум», — бодро разрешил мои сомнения архивист. — Вот тот самый «Аквариум» там и был. Главное разведывательное управление Со-

ветской армии. А вокруг него — всякие военные заборы, бараки, даже палатки, когда там войска к параду готовились по поводу годовщины большевистской революции. В общем, военная была территория. И это не такой уж секрет. Секретом долгое время было другое. То, что под землей.

— Неужели катакомбы, убежища, подземные туннели? — удивился я, вспоминая тяжкую чугунную дверь с сейфовым колесом.

— А то нет, — был ответ. — Убежища тогда везде строили, и как раз занимался этим товарищ Берия. И вот в такое убежище в дальнем конце аэродрома, под землю, его и привезли летом 1953 года, после того как товарищ Сталин весной умер, и праздник товарища Берии на этой земле закончился. Там он и сидел свои последние дни. Сколько сидел — сложный вопрос, говорят, что расстреляли его сначала, а судили и приговорили потом, в декабре. И, кстати, не исключено, что и расстреляли в том же подвале. Вот между этой самой Березовой рощей и Ходынским полем. Место последнего оргазма.

— Так, вот с точки зрения психиатрии называть расстрел «последним оргазмом» — это интересно, об этом поподробнее, — грозно сказал я.

— Доктор, не все на этом свете маньяки. По-

сидите секунду, я найду кое-что… Вот: мемуары одного человека, который ненавидел Берию просто до дрожи. Ну причин тому было сколько угодно. Итак, «Непримкнувший», автор — Дмитрий Шепилов, министр иностранных дел при Хрущеве, ответственный по партийной линии за культуру, искусство, идеологию. Кстати, сам красавец и любитель женщин — но не каких-то там малолеток. Глава «Схватка». Читаем… стоп, сначала насчет того, куда Берию поместили. «А когда было сказано, что он арестован и будет предан следствию и суду, зелено-коричневая краска поползла по его лицу — от подбородка к вискам и на лоб.

В зал заседаний вошли вооруженные маршалы. Они эскортировали его до машины.

Заранее было условлено, что помещение Берии во внутреннюю тюрьму на Лубянке или в Лефортовский изолятор исключалось: здесь были возможны роковые неожиданности. Решено было содержать его в специальном арестантском помещении Московского военного округа и под воинской охраной». Вот это и есть ваша Ходынка, дальний ее конец. Потом постепенно армия эти сооружения сдавала или закрывала… Так, а вот тут и насчет оргазмов: «Он настойчиво вытягивал

из глубин памяти самые эротические сцены и старался смаковать все подробности, чтобы распалить свое тело и забыться хоть на несколько мгновений.

В такие минуты дежурившие у дверей камеры круглосуточно высшие офицеры видели в смотровое окошечко, как Берия, закрывшись грубым солдатским одеялом, корчился под ним в приступах мастурбационного сладострастия». Какой слог, а? Заметьте, доктор, что читаю я не по книге. По файлу рукописи. Наследник и публикатор передал… Хотя время было уже далеко не советское, господа издатели как-то постеснялись оставить этот пассаж насчет солдатского одеяла.

Одеяло, подумал я. Солдатское. Одежда.

— Сергей Сергеевич, при аресте у него конфисковали всю верхнюю одежду?

— Да какое там — верхнюю. В мемуарах Шепилова совершенно справедливо отмечается, что отобрали шнурки от ботинок, ремень, даже знаменитое его пенсне — чтобы он стеклышками себе ничего не порезал.

— И куда дели все, что отобрали?

— Да черт же его знает, — искренне удивился архивист. — Вам это очень важно знать? Сомневаюсь, что у военных хранятся такие документы.

Хотя акт могли и составить. Подписи, печать.

А в принципе, подумал я, знать это мне не так уж и важно. Я представил себе руки военных следователей, проверяющих каждую складку серого легкого пальто, а потом… кидающие его куда-то в угол… а потом…

И тут вдруг у меня в ушах зазвучал голос матери. Когда же это было, сколько мне было лет, когда она рассказывала мне о холодном июньском дне 1953 года, когда меня, как ни странно, еще не было на свете. Были только она и мой отец, сидевшие на каменных ступенях у воды, покачивавшей окурки папирос возле сталинского небоскреба на Котельнической набережной. Им там, наверное, было очень хорошо в ту белую ночь, когда закат быстро сменялся восходом — хорошо, пока камни ступеней вдруг не начали мелко дрожать, а потом раскачиваться под ногами.

Потому что по набережной шли танки.

А мой отец, мальчишкой убежавший на фронт и с тех пор знавший, как выглядят танки, идущие не на парад, а с закрытыми люками и полным боекомплектом, поднялся по каменным ступеням — а потом вернулся к моей будущей матери очень серьезным и сказал:

— Мне, наверное, надо быстро домой.

Но то была не война. Это маршалы Жуков, Неделин, Москаленко и другие заранее подготовились к тому, чтобы войти в кремлевский зал и арестовать всесильного министра госбезопасности.

И у них все получилось. Не восстали дивизии, подчинявшиеся Лаврентию Берии. И дверь каземата на Ходынке захлопнулась за ним.

Холодное, холодное лето 1953 года. Летнее пальто. Подземный бункер, похожий на бомбоубежище. Поросшая мхом крыша, врастающая постепенно в землю.

— Вы там что замолчали, доктор? — звучал голос в трубке. — Я бы вам еще рассказал, какие интересные документы сейчас всплывают. Насчет того, что зря на Берию валили всех без исключения расстрелянных и всех заключенных. После войны он занимался по большей части атомной бомбой и атомной энергетикой, за что честь ему и слава, строительством и еще много чем. Были люди, на руках которых крови было не меньше. Они-то Берию и обезвредили. Интересно?

— Интересно, — честно сказал я. — Но не сейчас. У меня маньяк на руках. Ждет в нетерпении. Спасибо, Сергей Сергеевич.

Итак, что происходило с 1973 года до наших

дней в том, что касается маньяков в пальто? Да ничего не происходило. Они отдыхали.

А почему? Что изменилось в последнее время? Я вспомнил стройку, все эти десятки новых домов, выросшие в последние месяцы на бывшем Ходынском поле. Громадного пустыря на месте закрытого аэродрома не стало, он весь кишел…

Строителями.

Лазающими по лестницам новых корпусов, выносящими к бетонному забору мусор, раскапывающими… раскапывающими площадки…

У меня оставался один слабый шанс, и воспользовался я им на следующий же день.

Потому что бригадир несуществующей бригады из двух исчезнувших молдавских строителей еще оставался в своем домике-вагончике, сиротливо стоявшем в соседнем дворе.

— Не вернутся? — спросил я бригадира, присев с ним рядом на ступеньку домика.

Тот с яростью покачал головой.

— Жалко, — сказал я. — А вот они у меня книгу брали… про космических пришельцев… не лежит нигде?

— Нет, — снова траурно покачал головой бригадир. — Не видел.

— Я понимаю, — продолжал я подбираться к

цели. — Мне — книга, а ментам — насильник нужен. Но книга все же моя…

— Мои ребята — не насильники, они нормальные, — выговорил наконец что-то связное бригадир. — А книга — да вот сами посмотрите, тут ей негде быть.

Не веря своему счастью, я ступил в домик строителей, гнусно пахнущий биотуалетом. И увидел тускло-серую ткань прямо перед собой, на вешалке у двери.

Дальше все было просто.

— Да, кстати, мне нужно кое-что покрасить, — сказал я, — и вот эта штука, похоже, это рабочий халат. Сколько?

— Это не халат, — сказал строитель, — это от ребят осталось. Да заберите вы ее за просто так. За книгу. Ребятам уже точно не нужно. Не вернутся. А семьи их звонят, звонят…

Держа на вытянутых руках серое пальто, я спросил бригадира:

— А вы где до того работали? Не там, где вон на том поле стройка была? С того конца, где бетонный забор. Я с ребятами вашими вроде там и познакомился.

— Ясно, там, — подтвердил он. — А потом все закончилось, пришли отделочники. Вот мы сюда

и переехали — и тут все тоже… кончилось.

Помню, в какой-то момент я захотел поднести это пальто к лицу, вдохнуть запах погреба и картошки, и еле догадался этого не делать, швырнув его перед своей входной дверью, чтобы ни в коем случае не нести в квартиру. Достал большой магазинный пакет, запихнул туда пальто, оставил его перед дверями, тщательно вымыл руки, достал из кухонного шкафа бутылку жидкости для растопки углей в барбекю. Сунул в тот же пакет.

Мне надо было торопиться: спускался вечер, а оставлять пальто перед дверями на ночь никак не следовало. Его ведь могли найти, унести…

Вот и глухой угол Березовой рощи, пустая скамейка, выступающие из земли остатки бункеров.

Я вытряхнул пальто на крышу ближайшего бункера, на тот самый заплывший мхом бетон, полил горючей жидкостью, чиркнул зажигалкой. Жирный дым тяжело поплыл к бетонному забору и дальше, туда, где поднимались в небо этажи.

Оно горело очень медленно.

— Ну и зачем вы это сделали? — прозвучал откуда-то снизу подрагивающий тонкий голос.

Нет, я не испугался. Даже когда увидел, что все это время на соседней скамейке сидело странное

создание… старушка? Да, конечно, всего-навсего старушонка, в летнем плаще, в смешной соломенной шляпке с двумя деревянными вишенками — красная краска с них почти совсем облупилась. Зато тем же цветом горели ее скулы, в почти невидимой сеточке кровеносных сосудов, И при виде этих склеротических пятен на напудренных щеках почему-то возникал панический вопрос: сколько же ей может быть лет?

И почему я ее сначала не увидел?

Или все-таки ее здесь не было, когда я чиркал своей зажигалкой?

— Разве дело в пальто? — продолжала она — нет, все же не детским, а учительским, высоким, как слишком сильно натянутая скрипичная струна, голосом. — Это была просто ткань… и ведь какая хорошая ткань, сносу ей не было. Глупость. Да, глупость.

— Дело совсем не в пальто, — быстро, сквозь зубы, сказал я, чтобы не молчать — и чтобы не бояться.

— А ведь вы его самого даже не видели, — продолжала она, не обращая на мои слова никакого внимания и глядя светло-серыми глазами куда-то на носки моих кроссовок. — Вас тогда просто не было, даже в пятьдесят третьем. Тем более

раньше.

— А вы видели? — нашел голос я.

— А вот как вас, — снова зазвучала плохая скрипка. — Только ближе… Совсем близко.

И она медленно, очень медленно раздвинула тонкие бескровные губы.

Алексей Евдокимов
Европа после дождя
Киевская

— Расскажи мне о нем.
— Родился, страдал и умер.

Диалог из фильма Дэвида Мэмета Heist.

Если едешь сюда из центра по Филевской линии, за минуту до «Киевской» свистящий и пофыркивающий поезд, притормозив, выныривает на свет, на метромост — и ты торопливо хватаешь взглядом крутую речную излучину, угловатые архитектурные завалы вдоль набережных, широченный плоский фасад Белого дома, так и провоцирующий на стрельбу по себе из танковых орудий. Сегодня картинка, словно помехами в телеэкране, оказалась смазана частым быстрым белесым дождем, я заранее поморщился и поежился — но когда выбрался из-под земли у вокзала, все уже закончилось: потемневший асфальт отдавал банной влагой, прохожие брезгливо отряхивали зонты, а вернувшееся солнце размножалось в недолговечных лужах.

Я посмотрел на часы, форсировал улицу и медленно пошел к фонтану, казавшемуся остаточным явлением недавнего ливня — хотелось его выключить. Кто-то уже рассаживался, суя под зады рюкзачки и полиэтиленовые пакеты, на ступенях здешнего недоразвитого амфитеатра (другие стаскивали куртки или просто трясли мокрыми головами) — молодежная плешка быстро заполнялась. Я сразу вспомнил, как ждал здесь Янку. Тогда, натягивая до отказа капюшон и пытаясь под ним закурить, я, кажется, тоже успел пожалеть о собственном выборе места встречи; впрочем, за те десять минут, на которые она опоздала, морось иссякла, и я повел питерскую на новый пешеходный мост, где мы ничем не отличались от традиционных расслабленных парочек.

Вместе с ними нас шатало через душную стеклянную галерею с одной стороны моста на другую — я тыкал руками, объясняя, что здесь, наверное, единственная точка в городе, откуда плюс-минус вблизи видно сразу четыре сталинских высотки из семи. Кивая на проштемпелеванный гербом МИД, рассказывал, что согласно проекту он — единственный — должен был быть без шпиля, но товарищ Сталин в последний момент заявил,

кривясь, что так здание слишком напоминает ему американские небоскребы. Менять проект было поздно, дом уже почти построили — только кто бы решился перечить Самому?.. И тогда несколько верхних этажей проткнули гигантским металлическим штырем, на который сверху насадили жестяную островерхую башенку, крашенную под камень. После разоблачения культа Хрущеву намекнули, что идиотскую эту деталь неплохо бы упразднить в числе прочего мрачного сталинского наследия; но Никита Сергеич хмыкнул и велел оставить — как памятник безвкусию генералиссимуса.

На левом берегу мы двинулись по дорожке, идущей вдоль высокого травяного откоса, мимо турецкого посольства в сторону Бородинского моста. Площадь Европы была теперь внизу и напротив.

Я люблю это место.

Благодаря реке, благодаря открытому пространству перед Киевским вокзалом здесь есть простор для взгляда, здесь по-настоящему видно небо — что, в общем, редкость для Первопрестольной, стискивающей тебя между громадными каменными плоскостями. Распахивающийся отсюда панорамный вид — с готическим силуэтом

Университета слева, на дальнем обрыве, с частоколом могучих труб над «Рэдиссоном», с иглой гостиницы «Украина» поперек сиреневых облачных слоев — один из тех характерных и цельных урбанистических пейзажей, которые создают лицо городу и на которые столь бедна Москва с ее стертой индивидуальностью, монструозная и невнятная.

Так я и говорил Янке, добросовестно стараясь показать гостье город в выигрышном ракурсе, быть забавным и ненавязчивым. Я знал свою роль и свое место.

Познакомившись с девицей за год до того в ее родном Питере, я из вежливости — хотя и не только, не только — пригласил ее (то есть ИХ, конечно, — с Игорем) «к нам в бескультурную столицу», пообещав поводить и развлечь. Они, разумеется, не вняли — не потому, что имели что-то против меня, а потому что в отсутствие дополнительных поводов общение со мной явно не тянуло на стимул преодолеть шестьсот км. Потом у Янки повод появился — свадьба бывшей сокурсницы. Мероприятие было рассчитано на несколько дней (врачующиеся принадлежали к тому имущественному слою, что гуляет широко), но публика по большей части Янку не обаяла — и

она вспомнила про меня.

Чрезвычайно симпатичная, с какой-то подкупающей легкой неправильностью в чертах, с редким сочетанием ума и непосредственности, с тем балансом самоуверенности и искренней доброжелательности, что встречается у отпрысков безупречно благополучных семей: интеллигентных, состоятельных и дружных… Такая у Янки и была.

В те три дня я мобилизовал все свои невеликие резервы общительности и радушия. Гостья была неизменно приветлива, охотно слушала и прилежно пробовала акулу во «Вьет-кафе» — но в целом выглядела достаточно равнодушной. Как я убеждался тогда и впоследствии, люди, абсолютно адекватно чувствующие себя в жизни, не страдают избыточным любопытством ко всему спектру ее проявлений — они достаточно хорошо знают, что конкретно им от нее нужно.

Шансов войти в этот перечень я не имел в принципе.

В те времена я не оставил еще своих рок-н-ролльных потуг, формально считался — и представлялся — журналистом (неважно, что фрилансером), еще водил знакомство с людьми продвинутыми и местами даже небезызвестны-

ми, и вообще как-никак был москвичом… Словом, теоретически принадлежал почти к одному кругу с ровесницей из питерской театральной богемы; и уж ощущению непреодолимой социальной и психологической дистанции взяться было решительно неоткуда…

Я ощущал не просто дистанцию. Я ощущал пропасть.

В нашем с ней общении — совершенно вроде бы ненатужном — было, как ни крути, что-то от любезной беседы на лингва франка норвежца с малайзийцем, оказавшихся в соседних креслах трансконтинентального «Боинга». При всей расположенности друг к другу визави принадлежали к разным мирам — и о природе этой разницы тогда, четыре с небольшим года назад, я только начинал догадываться.

Янкино благодушие, на которое я так повелся вначале, постепенно стало меня смущать. Слишком сложно, невозможно для меня было проникнуться мироощущением, при котором мир — целиком и в большинстве частностей — видится штукой если не оптимально устроенной, то безусловно приемлемой…

Мне начала казаться подозрительной Янкина самодостаточность. Я прекрасно понимал ее

истоки — благо успел глянуть со стороны на ту реальность, в которой девица существовала давным-давно: с любимым театром, где она была на отличном счету, с их тесной, старой, сплоченной и замкнутой театральной компанией, откуда, разумеется, происходил и Игорь, ненавязчиво-общительный парень с внешностью молодого Бандераса — тоже, говорили, подающий большие надежды… Короче, реальность эта была столь гармонична, что в какой-то момент показалась мне искусственной.

Потом я понял, что это неправда. Точнее, попытка самообмана. Мне просто хотелось объявить фальшивым благоустроенное существование благополучных людей — чтобы в собственном, ущербном и неуютном, увидеть хотя бы одно преимущество. Преимущество подлинности.

Не такой уж редкий компенсаторный фокус.

На самом деле все наши существования, конечно, одинаково настоящие (или ненастоящие). Количество бытовых и социальных мерзостей в одном из них не дает ему никаких метафизических бонусов.

Просто у одних все в этой жизни складывается. У других — нет. И никакой морали отсюда не извлечешь. Ну разве что: «Горе побежденным».

Я снова посмотрел на часы и поморщился. Так я ничего и не смог сделать с собственной привычкой приходить на все встречи раньше срока — и важные, и неважные, и даже встречи с теми, кто сам никогда нигде вовремя не появлялся…

С другой стороны — куда нам спешить?..

— …Попробуйте все-таки…

— Ну послушайте, Феликс… Яна же девчонка популярная была, общительная… Мало ли с кем она могла встречаться… Тем более, год уже почти прошел…

— Ну может, кого-нибудь еще вы вспомните…

— Уф-ф… Н-ну, не знаю… А, ну с Пашкой еще из Москвы, кажется, она незадолго до этого виделась, вроде…

— Что за Пашка?

— Как его… Коренев, что ли… Просто знакомый… Он когда-то давно, лет, может, пять назад, в Питер приезжал, потом вроде Яна с ним в Москве виделась…

— А тут он опять в Питер приехал?

— Выходит, так…

— Что Яна говорила про эту встречу?

— Ой, я не помню…

— А какие-нибудь координаты этого Пашки у вас есть?..

Я обошел круглую площадь, потоптался на одном месте и тоже сел на мокрый камень. Закурил, внимательно следя за собой. Я хорошо помнил, что в свое время, именно глядя, как я закуриваю, Татьяна обронила, что у меня моторика бывшего зэка. А ведь она тогда ничего не знала. ЕЩЕ ничего не знала…

Чувствуя иногда на лице влажное касание, я рефлекторно поднимал голову — но брызги летели от фонтана. Под ногами перекатывались жестяные банки, пустые пивные бутылки торчали повсюду. На последние вдруг набросились невесть откуда возникшие дюжие парни в оранжевых штанах: споро покидали брякающую тару в черные пластиковые мешки, что, в свою очередь, отправились в кузов игрушечного трактора «Беларусь». Борьба за чистоту долженствовала, видимо, оправдывать название места.

Глеба, помнится, сильно смешила надпись на специальном столбике у фонтана: «В знак укрепления дружбы и единства стран Европы правительство Москвы тогда-то и тогда-то постановило создать ансамбль площади Европы…» Про дружбу стран Европы с Москвой говорить нечего — но больше всего умиляло несомненное ощущение причастности лысого мэра с компанией

к европейскому единству (увековечивать которое в Москве, по Глебову мнению, было так же логично, как в Пномпене). Мы обсуждали святую уверенность наших согорожан в том, что живут они в блестящей европейской столице (основной их аргумент тут, как правило, — количество и дороговизна бутиков). Глебыч, патентованный западник, говорил, что искреннее непонимание отличия — этому отличию лучшая иллюстрация и доказательство.

Объездив континент, пожив в Лондоне, имея в загранпаспорте многоразовую шенгенскую визу, Мезенцев считал себя вправе сравнивать и судить. Москву, будучи здешним аборигеном, недолюбливал и Европой признавать категорически отказывался. Основной аргумент его был — абсолютная несоразмерность этого города человеку. В чем с ним трудно было спорить.

С ним вообще редко когда — и кому — хотелось спорить. Я практически не встречал больше людей, столь здравых и внятных в суждениях. Причем талант равно обаятельно излагать их в устном и письменном виде делал Глеба и душой компаний, и звездой либеральной колумнистики.

«Либеральный» в его случае было не характе-

ристикой гражданской позиции, а синонимом взвешенной умеренности. Собственно, последняя и замещала в каком-то смысле Глебовы политические убеждения — он одинаково охотно, честно и хорошо писал в издания и сервильные, и антиправительственные (и, разумеется, в гламурные): бесспорность излагаемых им тезисов была столь очевидна, что даже в предвыборном мандраже даже самые верноподданные боссы не придирались к автору на предмет лояльности… Впрочем, у Глеба был дар нравиться (без тени подхалимажа!) любым боссам — памятный мне еще по школе, где мы с Мезенцевым подружились и где меня забавляла невольно проскальзывавшая в любви к круглому отличнику бальзаковски подвядших учителок внепрофессиональная чувственность.

Печатался Глеб с четырнадцати лет, причем в пятнадцать — уже в статусных всесоюзных изданиях. В двадцать возглавил еженедельник. В котором я, дотоле пробавлявшийся кустарным панк-роком и грошовыми приработками, впервые получил постоянную и осмысленную — хотя, конечно, внештатную — работу.

Многие потом — и не обязательно приятели — говорили, что пишу я классно. Ко всему прочему я работал много, выполнял все начальственные

поручения, соблюдал графики сдачи. При этом и я, и тексты мои (независимо от темы, жанра и пафоса) любым руководством воспринимались (и принимались — если принимались) с каким-то неявным (поначалу) скепсисом, словно через подавленное (а со временем уже и не подавляемое) желание пожать плечами. Когда же на прямой вопрос, почему за месяц не вышла ни одна из моих рецензий, некий замредактора, толстожопый, похожий на брюзгливого ламантина мудак, пробубнил с вялым раздражением: «Вот ты все время все ругаешь — а люди, между прочим, эти книжки читают, ходят на эти фильмы… а ты ругаешь!..» — я окончательно убедился, что пора завязывать. И как раз вынужденно завязал на два года — впрочем, по причинам, не имевшим к журналистике отношения…

Разумеется, в приступах самокопания я допускал — по соображениям элементарной логики — собственную бездарность. Но если серьезно, я в это никогда не верил. И не только, полагаю, в силу самолюбия. Я знал, что делаю свое дело хорошо. Другой вопрос, что никому это, как правило, не было нужно. Причем не был нужен именно мой продукт. Чужой — Глебов, допустим — того же рода и качества отрывался с руками.

Я так и не понял в итоге, в чем причина. Вернее, пришел к выводу, что причины нет. Нет тут ни правил, ни закономерностей. Просто у одних подать себя и свою работу получается, а у других — ни хрена. Причем объективная ценность этой работы никакого значения не имеет. Больше того: нет ни у чего никакой ОБЪЕКТИВНОЙ ценности…

…Пора бы, что ли, ему появиться, подумал я, в очередной раз осматриваясь и пытаясь угадать в ком-нибудь из окружающих вчерашнего телефонного собеседника — но никто из наличных мужиков внимания на меня не обращал, а одна из двух сидящих аккурат напротив девок, мимолетно поморщившись, отвела взгляд.

— Дмитрий?

— Феликс?

— Да, Дмитрий, это я вам звонил. Приветствую.

— Вы про Пашку хотели узнать?

— Вы сказали, вы с ним общались на прошлой неделе…

— Ну да.

— А я вот специально из Питера приехал и все не могу найти его. А знакомые вообще говорят, что он куда-то пропал…

— Ага, я тоже от кого-то слышал, что Павло

вроде пропал — еще чуть не год назад. Так что сейчас звонил ему без особой надежды. Но нет, знаете — сразу дозвонился, он в Москве оказался. Забились, встретились — на этой, как ее, у Киевского вокзала?.. — площади Европы. Мы там раньше частенько тусовались. Переходили реку и пиво дули на склоне, на травке, с видом…

— Но теперь, я так понял, вы с ним редко общаетесь?

— Да вообще не общаемся. Года два почти. Когда Корень вышел, мы с ним одно дело замутили — но прогорели быстро. Как-то после этого и разошлись.

— Вы говорите — «вышел». Он что, сидел?

— Ну да. По дикой глупости. За несколько косяков, представляете? Это надо было уметь так попасться. Ментам под облаву. Причем он же редко вообще пыхал-то. Сто пудов, чисто ради статистики его загребли — за какие-то пару папир паршивых… Но у нас же как — за всё посадить можно, если захотеть. Статья двести двадцать восьмая, часть первая — «приобретение и хранение». Она, по-моему, максимум предусматривает три года — вот все три ему и впаяли. Уж не знаю, почему — не понравился судье, наверное, чем-то. Два года отмотал. Не так, с другой стороны, и

много, но зона его перепахала порядком — даже движения у него такие, знаете, дерганые малость сделались… Понимаете, у Пашки все как-то так — через задницу. Ни в чем ему не везет. Начнешь с ним дело — обязательно накроется. Нет, не потому что Корень лажается или там халявит — он всегда, наоборот, честно пашет… даже иногда с перебором: он немец такой, знаете, педант… А просто не везет ему все время. Так что я как один раз обжегся, больше с Пашкой старался не связываться.

— А с чем еще ему не везло?

— Да со всем буквально, я говорю. Работы никогда не было нормальной, денег — не было. В газеты писал — всегда внештатно. Все попытки бизнесом заняться — обломились… Он же еще роман какой-то сочинил… И — то же самое: все издательства, куда он совался, штук десять, отказались его печатать. Потом — лет шесть прошло, если не больше — одно все-таки выпустило. Минимальным тиражом. Заплатив меньше штуки баксов. И никто его не заметил, естественно… Правда, сам Павло говорил, что для России это нормально.

— А чего, если не секрет, вы решили встретиться с ним сейчас?

— У него кое-какие документы остались — ну, на ту фирму, что мы два года назад регистрировали… Ну и вообще все-таки интересно было на Пашку посмотреть… Интересно было: он в конце концов как-то преодолел свою карму — или по-прежнему, извините, сосет?..

— И как?

— А, по-прежнему все… Совсем он какой-то странный сделался… пьет, что ли… или торчит… Нехорошо, наверное, это с моей стороны — но скажу честно, я даже какое-то удовлетворение испытал… В том смысле, что ничего не меняется. А то знаете, иногда так подумаешь: вот, вроде у меня все о'кей, дело идет, деньги капают, все типа есть, чего надо… А вдруг что-нибудь случится, непредвиденное, ни с того ни с сего — и бах, ты на голяке?.. Или даже на счетчике?.. А сейчас на Корня посмотрел, знаете, и убедился: если кому-то не везет, то ему не везет всегда. А если у тебя, наоборот, все хорошо по жизни шло — то скорее всего и дальше будет хорошо…

— Скажите, а Глеба Мезенцева такого вы знаете?

— Немного. Через Пашку как раз.

— Вы не в курсе, что с ним произошло?

— Нет…

— Он на машине разбился. Еще два месяца назад.

— И что?

— В больнице.

— Тяжелые травмы?

— Да… Довольно.

— Хм. Бывает…

— Павел же с Глебом вроде друзья были. Я хотел бы с Пашей увидеться, поговорить. Вы не подскажете его телефон, по которому вы сейчас до него дозвонились? А то я его ищу — и все говорят, пропал…

— Телефон? Да, пожалуйста…

Я выбросил бычок, заложил руки за голову, потянулся. Девка напротив механически глянула на меня и отвернулась. Я так же машинально мазнул взглядом поверх голов, слева направо: по вогнутому фасаду «Рэдиссона», по длинной псевдоклассицистской колоннаде вокзала, по гнутым трубам из нержавейки в центре фонтана, долженствующим (насколько я помню), согласно замыслу скульптора-бельгийца, изображать рога быка, ухищающего Европу. Дар, понимаете ли, городу. У себя в центре Брюсселя такое небось поставить постеснялись бы…

Из фонтана торопливо хлебала черная косма-

тая псина, по колено в воде бродили малые дети. Девки напротив наконец встали и пошли мимо меня налево, к мосту, независимо щелкая каблуками. Я подумал, что будь мы тут, как встарь, с Митькой, волнующее знакомство состоялось бы с семидесяти-восьмидесятипроцентной вероятностью…

Не могу сказать, что я так уж завидовал его феноменальной контактности — обычай затевать где попало с кем попало разговоры о чем попало часто утомлял — но она меня иногда завораживала своей универсальностью и необъяснимостью. Я так и не разгадал природу живейшего интереса, который Митяй вызывал в людях всех полов, возрастов, социальных категорий и IQ. В нем не было Глебова, скажем, ума, вроде бы не было какого-нибудь особенного обаяния, ни смазливости, ни брутальности, на которые ведутся мочалки — наоборот, Митькины облик и манеры отличала легкая, часто чуть нарочитая дураковатость, дурашливость… Человек невеликой образованности и чувства юмора, он сознательно или интуитивно разыгрывал анфан террибля — и в беспроигрышном этом амплуа пользовался снисходительным, но несомненным успехом, даже когда вел себя как полный дебил. Над ним

все покровительственно трунили — при этом искали его общества, беспрерывно ему названивали (часто без повода), собирались вокруг него обширными, замечательно пестрыми компаниями. Он действовал на общество как красивая баба или халявная выпивка — присутствующие принимались галдеть, ржать и хорохориться. Пацаны набивались к Митяю в собутыльники, девицы в любовницы. Для поиска партнеров по бизнесу или по койке ему отродясь не требовалось шевелить пальцем — несмотря на то, что избалованный Митяй сплошь и рядом кидал и тех, и других…

Я в этом смысле ничем не отличался от прочих его знакомцев: охотно с ним квасил, готовно снижая планку интеллекта и юмора, легко прощал мелкое и даже не очень мелкое кидалово и вообще относился к Митьке покровительственно — даже когда наши социальные и материальные статусы предполагали прямо противоположное…

Я вспомнил наши с ним неожиданные ностальгические посиделки на прошлой неделе. Что-то очень странное и при этом очень неслучайное было в буквальном повторении когдатошней классической мизансцены: двое с бутылкой на

травяном склоне напротив площади Европы. Точно над вокзалом — золотая прореха в сизых облаках. Туманные косые лучи веером падают из нее на строящиеся зеркальные высотки Москва-Сити, помаргивающие сигнальными огоньками, на задравшие стрелы насекомо-тонкие краны (их еще не было, когда мы сидели тут регулярно). Снизу, с Ростовской набережной поднимается ровный гул с вкраплениями гудков и взревываний. Реклама «Старого мельника» размером с небольшой дом висит над сквером, где все для меня закончилось…

Мы сидели и пили — как раньше: оба прекрасно понимая, что как раньше никогда уже не будет; и теперь до меня вдруг дошло, что Митяй эту фальшивую демонстрацию единства затеял ради доказательства самому себе изначального и принципиального неравенства. Потому что из двух человек, ничем так уж не отличающихся и ни в чем особо друг друга не превосходящих, к одному все идут сами и дают ему всё даром — а другого не видят в упор и не дают даже заработанного. И ни первый, ни второй в этом не виноваты. И вообще никто не виноват. Никто и ничто — ведь даже никакого закона нет, согласно которому все так происходит.

Оно все так — не из-за чего. Нипочему. Просто так. Просто — так.

Я поднял голову и вдруг напоролся на прямой цепкий взгляд. Довольно неприятный. Принадлежал он рослому подоплывшему мужику лет пятидесяти с широкой, грубовато-выразительной ряхой харизматического антигероя. Мужик шел в мою сторону — только что неуверенно, но с каждым шагом все быстрей и целеустремленней, и я тоже сразу понял, кто это. Я уже собирался было встать, как вдруг мужик резко остановился, быстро сунул руку за пазуху и, продолжая исподлобья смотреть на меня, приложил к уху мобилу.

Звонил Костя из ЗИЦа, помогавший тут, в Москве, Феликсу с инфой.

— Слушаю, — отрывисто вполголоса сказал Феликс, не спуская глаз с этого Коренева.

— Ты Дмитрием Лисиным интересовался… — озабоченно протянул Костя.

— Ну?

— Ты с ним встретился?

— Да. Вчера.

— Ну повезло, значит, — странно хмыкнул Костя. — Успел…

— А что?

— А вот я сегодня с утра случайно на его имя

напоролся. Тебя сразу вспомнил… Из Восточного округа отчет по взрыву на Сиреневом бульваре пришел…

— Какому взрыву?

— Не слышал? На Сиреневом, два. Предположительно бытовой газ вчера вечером рванул. Несколько квартир разнесло, чуть вся секция подъезда не рухнула. Трое погибли. Один из них — Лисин. Он в квартире как раз над взорвавшейся жил…

— Бытовой газ, значит, — медленно повторил Феликс, глядя на Коренева, безмятежно сидящего на месте.

— Предположительно. Экспертного заключения еще нет.

— Это не газ, Костя. То есть, может, и газ — но не несчастный случай. Это убийство.

— С чего ты взял?

— Знаю, — отрезал Феликс и отключился.

Он пошел к ублюдку, спокойно вставшему ему навстречу и, кажется, собиравшемуся протянуть руку — но выражение Феликсова лица его, видимо, остановило.

— Павел? — уточнил Феликс, поразившись блеклости собственного голоса.

Ублюдок кивнул, утвердив в свою очередь:

— Феликс…

Невзрачный бледный парень, парадоксальным образом выглядящий одновременно и младше, и старше своих тридцати с хвостиком. Абсолютно заурядная, чем-то неуловимо-непривлекательная внешность. При этом некая не пойманная Феликсом деталь — наверное, даже не в облике, а в выражении глаз — заставила его вспомнить слова покойного Лисина: «Странный он стал… пьет, что ли… или торчит…»

Они стояли и смотрели друг на друга: Коренев — спокойно-выжидательно. До Феликса вдруг дошло, что он не знает, что сказать визави. Или что делать… И вообще — зачем ему понадобилась эта встреча… С тех пор, как Феликс понял, что вычислил выродка, разум его поступками руководил лишь отчасти — данный, например, был продиктован исключительно эмоциями: Феликсу нестерпимо хотелось увидеть тварь, оказаться с ней рядом, рассмотреть… а еще — дать ей понять, что ему все известно, что у этого выблядка теперь нет ни выбора, ни шансов… чтобы боялся, падаль, чтобы ему было страшно до тех пор, пока не станет больно…

— Моя фамилия Шахлинский, — произнес наконец Феликс все тем же перехваченным голосом.

— А-а… — чуть кивнул сам себе Коренев. Что-то мелькнуло в его глазах — но нет, не страх…

— Я родной Янин дядя, — добавил Феликс.

— Примите соболезнования, — после короткой паузы сказал Коренев, и Феликс почувствовал, что готов урыть его прямо здесь, у всех на глазах. Он понял, почему гад назначил ему встречу именно тут, в месте, где полно народу. Значит, все-таки боится…

— Я полковник РУБОПа.

— А от меня-то вы что хотите?

— Ты знаешь, — сказал Феликс и сделал быстрый глубокий вдох, чтобы удержать себя в руках. — Говорят, она умирала несколько часов. Так вот ты, сука, умирать будешь в десять раз дольше. Ты думаешь, я тебя посажу? Нет, не думаешь, конечно… — он постарался улыбнуться поласковей. — Знаешь, что улик не хватит. Только мне улики на хер не нужны… Я тебя сам убивать буду…

Ублюдок ухмыльнулся. Феликс едва поверил своим глазам — но тот действительно хмыкнул без малейшего испуга.

— Так вы решили, что это я ее убил?

— А ты думал, никто не догадается? Правильно: ни следов, ни, главное, мотива… Только мне

повезло. Я случайно узнал про некоторых других твоих знакомых. Про то, что с ними произошло за этот год. Тот год, когда ты вдруг пропал… Когда никто не мог тебя найти. Кроме тех немногих, кто все-таки встречался с тобой — и вскоре после этого умирал. Ну или оказывался овощем под капельницей — как Мезенцев…

— Постойте. Глеб же на машине разбился.

— Ага. На машине. Слетел в кювет, после того, как кто-то подрезал его «бэмку». Подрезал и скрылся…

— Вы думаете, это был я? Ну вы даете… У меня и прав-то не было никогда… Хотя что вообще вы меня заметили — это, конечно, круто… Говорите, вам везет?.. — Коренев глянул на Феликса в упор, и тому стоило некоторого усилия выдержать его взгляд. Но он выдержал, конечно, — ублюдок снова опустил глаза, снова закивал:

— И решили, значит, что я их убиваю… Одного только не пойму — зачем это мне?

— А затем, что ты, сука, всем им завидовал. Затем, что ты всю жизнь сосешь. Затем, что ни хера у тебя не получалось никогда. Затем, что ты, говно, ненавидишь тех, у кого все хорошо, у кого все получается, кому везет…

— Везет… — перебил его Коренев, глядя при-

стально. — Что, по-твоему, это значит — везет?.. Ты считаешь, что способен судить, кому везет, кому нет?.. Полагаешь, что тут существуют какие-то закономерности?.. Естественно… Мы всегда во всем ищем логику, закономерность. Точнее, навязываем их. Просто потому что мы мыслим в этих категориях, иначе не умеем… Только их на самом деле нет, — он медленно, не отводя взгляда, помотал головой. — Нет нигде, кроме наших голов. Вот чего вы все не хотите понять. Чего я сам долго, очень долго не понимал. Я все думал, существуют какие-то правила. И я старался их соблюдать! Дело свое — делать добросовестно. Слово свое — держать. Никого не подставлять… Все думал, если я буду по-хорошему, то и со мной будут по-хорошему… — дернул углом рта. — Все это, конечно, херня. Нету никаких правил. Ничего не зависит ни от твоих личных качеств, ни от количества затраченных усилий. Просто — везет или нет… Только ведь и это, — он вдруг сделал полшага к Феликсу, придвинувшись почти вплотную, — ничего еще не значит. Вот что я пытаюсь вам объяснить! Вот зачем я ко всем вам прихожу — чтоб вы хоть под конец задумались. Закономерностей не существует и тут тоже. И если даже тебе везло все время — это не гаранти-

рует тебя ни от чего. Ни-от-че-го…

— Ага, — Феликс в свою очередь чуть подался вперед, вынудив визави отступить, — и ты, значит, взял на себя роль судьбы?

Коренев хмыкнул:

— Не слушаешь… Тебе все подавай смысл. Подавай виноватого. Естественно, так легче — если есть кого обвинить… — он отступил еще на шаг, словно для того, чтобы разглядеть Феликса целиком. — Пойми: некого винить. И ничего не сделать… — еще шаг назад — и тут на него сбоку налетели какие-то громкие жестикулирующие молодцы. Произошла небольшая толкотня, в результате которой Коренев оказался от Феликса уже метрах в пяти. Как-то очень ловко и ненавязчиво пристроившись молодцам в кильватер, он двинул прочь, в обход фонтана — быстро наращивая шаг, норовя скрыться за все новыми и новыми спинами.

Дав уроду удалиться шагов на пятнадцать, Феликс двинулся следом. Никакого плана у него не было — но по-любому отпускать козла сейчас вряд ли стоило. «Довести» до места поукромней, прикинул Феликс, стукнуть аккуратно или просто связать-заткнуть…

Следом за довольно шустрым, но ни разу не

обернувшимся Кореневым Феликс пересек площадь, дошел до угла вокзала — и тут сообразил, что урод направляется в метро. Он сразу наддал, сокращая дистанцию — но только в людном вестибюле станции, только видя, как выродок пристраивается в очередь к турникету, вспомнил, что у него нет карточки. Матернувшись про себя, оглянулся на кассы — безнадежная толчея… Подумал: перепрыгну турникет — и тут же уперся взглядом в патрульных ментов. Черт…

Коренев прошел к эскалатору — Феликсу, кстати, показалось, что сам он никакой карточки не доставал… Феликс втерся в толпу у турникетов. Он отчетливо видел, как скрывается под землей Коренев. По пояс, по шею. Пропал…

Бесцеремонно прижавшись сзади к какой-то широченной бабке — та что-то возмущенно квакнула — он проскочил турникет. Расталкивая всех, бросился к эскалатору, ожидая увидеть сыплющегося по ступенькам Коренева.

Спуск на «Киевской» длиннющий — но козла почему-то нигде видно не было. Ни бегущего, ни стоящего. Что за?.. Феликс шарил и шарил взглядом, не обращая внимания на взрыкиванья тех, кому он загораживал, дорогу.

Нету… Нету…

Вот так… Ловко. Сука…

Потоптавшись еще с минуту, несколько раз глубоко вдохнув-выдохнув, Феликс побрел наружу.

Собственно, ничего такого не произошло. Он знал, кого искать, и он, слава богу, знал, как искать — всю жизнь этим занимался… Он, конечно, и мысли не допускал, что не найдет выродка снова. Ко всему прочему, Феликсу и впрямь ведь всегда везло…

Двигаясь к стоянке, где он оставил машину, Феликс дошел до улицы. Дождался паузы в автопотоке, шагнул на проезжую часть. В кармане заерзало, запиликало, Феликс замешкался на секунду, выцарапывая телефон… Костя из ЗИЦа… Феликс успел нажать соединение и даже повернуть голову на яростный тормозной вопль — а вот удара почему-то так и не почувствовал.

— Ало, Феликс? Ало!.. Ало-о?.. — но после короткого резкого шума в трубке завякали короткие гудки. Сорвалось. Ладно, перезвонит…

Костя отключился и снова уставился на монитор. Однако обломись, полковник. Тот Павел Коренев, которого искал питерский, помер — как следовало из справки, найденной наконец Костей — еще тринадцать месяцев назад. В Склифе, в реанимации. Черепно-мозговая, отек мозга. Его

нашли в сквере у площади Европы — избитого, без лопатника и телефона. Место там, насколько Костя помнил, правда неприятное — вечно алкаши отираются.

Глупая смерть…

2007

Сергей Кузнецов
Московские реинкарнации
Лубянка

Никита засыпает, держа меня за руку.

У него красивая кисть. Сильные пальцы, овальные гладкие ногти, выступающие сухожилия. Светлые волоски, почти незаметные, но жесткие на ощупь.

Он спит, держа меня за руку, а я никак не могу уснуть.

Мне страшно засыпать. Будто входишь в холодную воду, медленно погружаешься, ныряешь с головой, не знаешь, что увидишь на дне.

Тем крымским летом я ныряла одна, Никита смотрел с берега. Только потом сознался: боится плавать.

Я не боялась ничего. Мне было двадцать восемь лет. Никогда прежде я не была так красива, как тем летом.

И никогда уже не буду.

Время выжало меня, будто стираное белье, кинуло на просушку, будто мятую тряпку. Когда-то я думала, *время не щадит никого,* но теперь знаю:

это не так.

Время меняет всех, но мужчинам идет легкая седина, неторопливость походки, основательность фигуры. Во всяком случае — Никите. А до других, если честно, мне давно нет дела. Его руки почти не меняются. Разве что семь лет назад появилось обручальное кольцо.

Моя кожа тускнеет, сохнет, покрывается мелкой рыбачьей сетью, в ней пойманными рыбами бьются прожитые годы. Волосы выпадают, и по утрам я смотрю на подушку, борясь с соблазном пересчитать волосинки.

Однажды не удержалась. Теперь я знаю: двести пятьдесят три волоса — это почти горсть.

Я боюсь облысеть. Боюсь, через несколько лет исчезнет грудь, живот прилипнет к позвоночнику, глаза провалятся. Иногда я кажусь себе живым мертвецом.

Девять лет назад я не боялась ничего. Теперь я не могу заснуть от страха.

А Никита — ничего не боится. За эти годы он стал совсем бесстрашным. *Махнемся не глядя?* — как говорили у нас в детском саду.

Я не хотела идти в детский сад. Тогда я еще боялась. Мне казалось, что мама однажды не заберет меня, оставит там навсегда. Только потом

я узнала, откуда этот страх — эхо детдомовского младенчества, первых месяцев моей жизни.

Мама сама рассказала. *Понимаешь, иногда дети по ошибке рождаются не у своих родителей. И те могут отдать их в такое специальное место, где настоящие родители их находят. Как мы тебя.*

Мне было шесть лет, я не знала, откуда берутся дети. Наверное, думала про аиста, который может перепутать свертки, или про магазин, где после долгой очереди можно купить ребенка — и по ошибке могут продать не того.

Когда мне было десять, папа объяснил: *древние индусы верили в перерождение душ. Я считаю, что ты — та девочка, которую мама так и не смогла родить.*

Я знала, что детей вынимают из живота, но не очень понимала — как это можно не суметь родить?

Я уже не верила в аиста и в магазин тоже не верила, но в перерождение душ поверила сразу. И продолжаю верить. Я верю, что одна и та же душа путешествует из тела в тело, не обращая внимания на историческое время, иногда по многу раз рождаясь в одном и том же столетии, чудом не встречая себя саму в предыдущем (последующем?) обличье.

Я верю в это. Точнее — знаю. И поэтому я лежу без сна, сжимая Никитину руку. Я боюсь уснуть.

В полупрозрачном вязком пространстве между явью и сном возвращаются мои прошлые жизни. Мужчины, женщины, дети. Они заполняют меня так, что внутри уже нет места для меня самой.

Я сжимаюсь в клубок, пытаюсь вытолкнуть из себя прошлое — оно было моим, не было моим, возможно, не было вообще.

Неудивительно, что я худею: наверное, мне кажется, что когда я совсем иссохну, призраки отправятся искать себе другое вместилище.

Но, может, еще раньше я свыкнусь с ними. В конце концов — это мои прошлые жизни. Я их уже узнаю? Старуха вертится перед зеркалом, мужчина смотрит на реку, девушка обхватывает руками беременный живот, мужчина нажимает курок, солдат выдергивает чеку гранаты, голый мужчина готовит завтрак, девочка смотрит на Черное море, мужчина опускается на колени перед любовником.

Они кричат, смеются, плачут, стонут, вздыхают… иногда мне хочется распахнуться им навстречу, обнять их, сказать: входите, вот она я, ваш ненадежный приют, ваше будущее, реинкарнация, перерождение. Не плачьте, все ведь

сложилось хорошо, посмотрите на меня, я гораздо счастливее вас: у меня все прекрасно, любящий муж, дом, машина, хозяйство, полная чаша. Меня не били на допросах, моих друзей не убивали, радиация не разъедала мою плоть, я не ждала ареста. Я не думаю о деньгах, не думаю о выживании, не думаю, где буду завтра спать и что буду есть. Я вообще не помню, когда я последний раз была голодна.

Но бесплотные призраки колышутся в толще сна, клубятся в сумрачных углах огромной квартиры. Они уже прожили свою жизнь, они уже не успели, не сбылись, не допили горькую воду земного бытия, не доели полынный хлеб посмертного изгнания. Они всегда голодны.

Они едят меня изнутри. Моя жизнь — пища для тех, кем я была когда-то. Они вгрызаются в мою плоть — и каждый месяц наружу выливается кровь, свидетельствуя: пир продолжается, призраки не насытились, они все еще несчастны.

Каждый месяц, согласно фазам луны, плюс-минус день я получаю одно и то же письмо.

Там написано: *у тебя опять не будет ребенка.*

* * *

Засыпая, мы держимся за руки. Коля мой, Коля-Николай. Я хочу спать, повернувшись к тебе лицом, но с каждым месяцем это все труднее. Можно, наверное, считать, что мы спим втроем, правда? Всего два месяца осталось — и родится наш зайчик. Интересно, мальчик будет или девочка? Старухи в деревне всегда угадывали — по походке, по форме живота, по другим приметам.

Вот уже, почитай, пять лет прошло, а я все не могу привыкнуть, что Березовки моей больше нет. Правда, внучатый племянник старого Георгича написал в прошлом месяце — дескать, на ее месте собираются построить совхоз. Не знаю даже… вроде хорошо. Снова коровы замычат, куры будут бегать, как будто войны и не было. Ну а так посмотришь — все же такая жуть случилась, как людям там жить?

Я Коле рассказала, а он говорит: а что мы в квартире погибшего солдата живем, тебе ничего? Так, мол, и должно быть. На место умерших бойцов приходят новые. Только бойцов у нас в Березовке не было. Лушка-дура спрятала двух партизан — и все. Нина смотрит на улицу — там двухэтажные деревянные дома, инвалид на скамейке разго-

варивает с двумя бабами. Из соседского окна доносится патефон.

Это — Москва, столица Союза Советских Социалистических Республик, первого в мире государства рабочих и крестьян. Марьина Роща.

Нина гладит круглый живот, уговаривает мальчика или девочку потерпеть немного, не пинаться, полежать смирно. Врач сказал, с ним уже можно разговаривать. Или с ней?

Нина ждет мужа. Целыми днями сидит дома, боится выходить. Даже днем на улице могут напасть, отобрать деньги, просто раздеть. Могут и ножом пырнуть, и пристрелить. Очень уж блатных много.

Коля говорит, все началось после войны. Раньше Москва была другая. А вот теперь приучили убивать — вот люди никак и не остановятся.

Нина не умеет убивать. Она умеет только прятаться, только не умирать.

Два месяца она скрывалась в лесах, питалась ягодами, иногда рыла картошку на сгоревших огородах Березовки. При звуке мотора падала на землю, замирала.

Раньше Нина любила ходить по лесу. Мама смеялась, называла «моя лесная девочка».

Мама сгорела вместе со всей деревней. Нина

осталась жива — утром пошла за грибами, когда появились каратели — схоронилась в лесу, не выходила, пока все не кончилось.

Пока все не умерли.

Коля говорит, он бы в лесу не продержался и дня. Я, говорит, волков боюсь. Смеется, наверное, — ничего он не боится.

За него боится Нина.

Боится, что Колю зарежут, чтобы отобрать пистолет.

Боится, что Коля остановит кого-нибудь, проверить документы — а тот начнет стрелять.

Боится, что Коля пойдет брать «малину» — и его убьют в перестрелке.

Боится, что Коля зайдет в подъезд — а там засада.

Нина говорит: береги себя, ради Бога. Подожди хотя бы, пока ребенок не родится!

А Коля отвечает: я присягу давал. Если я их не остановлю — они же дальше убивать будут. Вот недавно в Марьиной Роще вырезали целую семью. Даже ребеночка маленького. 25 тысяч рублей унесли.

Огромные деньги. У Коли зарплата всего 550. Это сколько надо работать, за такие деньги?

— А сколько было ребеночку? — спрашивает

Нина.

— В колыбельке еще, маленький совсем, — отвечает Коля. — Убили, чтобы не кричал.

Зачем он рассказывает? Нине хочется еще раз услышать, как после родов Коля возьмет отпуск и не будет ходить на работу каждый день. Нет, не хочет Коля говорить про отпуск, отвечает Нине: погоди, всех переловим — тогда заживем хорошо, счастливо!

Нина не верит. Помнит, как говорили: выгоним фрица — заживем хорошо, счастливо! Где ж нынче то счастье? Она теперь каждый день мужа как на фронт провожает!

Впрочем, сама виновата: знала, за кого замуж вышла. С первой минуты. Только Коля был такой красивый в новой форме, в синей, с красным кантом. Фуражка с голубым околышком. Сапоги. Как на танцах его увидела — сразу влюбилась. Коля потом сознался: из-за формы в милицию и пошел, давали бесплатно, а так носить нечего было.

Еще на фуражке была звезда, в центре — солдат с винтовкой наперевес. Нине тоже очень нравился.

Тогда Нина только приехала, боялась Москвы — просто жуть! По улицам пробиралась все бочком, бочком — а мимо, сплевывая под ноги,

шли-форсили местные, ничего не боялись. Их на улице сразу было видно: кепка-восьмиклинка, хромовые сапоги, белый шарф-кашне.

Коля потом сказал: это блатные. То есть — бандиты.

— Почему же они так по улице ходят, никто их не арестовывает? — спросила Нина.

— Ну, нельзя человека за кепку-восьмиклинку арестовать, — засмеялся Коля, — Но не волнуйся, скоро ходить перестанут. Жаль только, «вышку» отменили. Ну ничего, при случае сами будем разбираться, — и подмигнул.

«Вышка» значит «высшая мера наказания». Расстрел. Ее отменили год назад. Коля говорит: лес некому валить в Сибири.

Нина думает: вот родится ребенок — и как будет жить? Хорошо еще, война кончилась. Но все равно: неужели всю жизнь в городе? Ни леса, ни реки настоящей. Конечно, можно съездить в ЦПКиО, там с пристани ныряют, плавают — но Нине неловко. Она ведь плавает как деревенская, в Москве небось у всех какой-нибудь стиль.

Нина сидит дома, ждет мужа. Сидит, ждет, волнуется, тревожится, боится. Читать толком не читает, патефона у них нет, даже радиоточки нет, дом-то старый. Не знаю, были ли тогда вообще

телевизоры, но у Нины с Колей точно не было.

Я тоже сижу дома, тоже жду Никиту. Я тоже волнуюсь за него — хотя мне нечего волноваться. Бизнес у Никиты мирный, машину водит аккуратно. Но все равно волнуюсь.

Хотела бы сказать: *не знаю, как я бы волновалась на месте Нины,* — но не могу: я — это она, она — это я, значит, когда-то я вот так сидела, ждала мужа с работы, скучала, глядела в окно, гладила беременный живот, боялась выйти на улицу.

Как странно чувствовать чужие жизни внутри себя! В памяти вдруг всплывают обрывки чужих мыслей, ненужных знаний. Какие ягоды съедобны. Где лучше собирать грибы. Как залезть на дерево и устроиться так, чтобы ночью не свалиться.

А иногда привяжется какой-нибудь мотив, звенит в голове час за часом. Иногда даже слова можно разобрать.

Отец мой фон-барон ебет свою красотку,

А я, как сукин сын, свою родную тетку

Всегда, везде,

С полночи до утра,

С вечера до вечера

И снова до утра.

Отец мой фон-барон ебет одних богатых

А я, как сукин сын, кривых, косых, горбатых

Всегда, везде,

С полночи до утра,

С вечера до вечера

И снова до утра.

Я знаю: это пели мальчишки, когда Нина проходила по двору. Нина слышала эту песню, а теперь она звучит в голове у меня. *Всегда, везде, с полночи до утра* — и я не знаю, насмешила эта песня Нину, напугала, раздосадовала? Меня от нее берет тоска. *Всегда, везде* — то есть в этой жизни и в предыдущих, круглые сутки, ночью и днем, я сижу в кресле, на стуле, на табурете — и жду, пока любимый вернется домой. И боюсь: с ним что-то случится.

Когда я — Нина, глажу свой большой беременный живот. Когда я — Маша, снова и снова крашу ногти на ногах, хотя никуда не собираюсь выходить. Меня это успокаивает.

Коля приходит домой, рассказывает, как взяли на днях банду Казенцова, прямо в поезде, с

перестрелкой. Они в детский вагон забились, их проводник заметил, позвонил, куда надо. Выяснилось: машины угоняли. Просили шофера куда-нибудь за город отвезти, а там убивали. Теперь их самих убили, двоих по крайней мере.

Коля говорит, в Москве слишком много оружия. Трофейное, привезенное с войны, отнятое у милиционеров, украденное с завода «Серп и молот», куда старое сдают на переплавку.

Чтобы у милиционера пистолет нельзя было вытащить, объяснил. Коля, он надет на специальный красный шнур. Шнур поднимается по борту мундира, огибает шею, спускается по другому борту. А в рукоятке у пистолета — специальное ушко, за него шнур крепится. Коля объяснил и даже показал, но я все равно не понимаю: лучше бы пистолет можно было просто отнять. А так, если какой блатной пистолет захочет — он же убивать будет?

Я очень боюсь за Колю. С тех пор, как забеременела, боюсь еще больше.

А ведь сначала я была так рада, что у нас будет ребенок! Я представляла, как он у меня растет там, внутри, ходила к врачу раз в месяц — врач рассказывал, когда глазки появляются, когда ручки. Жалко только, родится он в Москве, не в

деревне. Разве здесь — жизнь? Чего я сюда поехала? Наверно, знала — Колю встречу. А больше здесь и нет ничего хорошего, в Москве.

Хорошо, что я в училище не поступила. Так бы учиться пришлось — а, глядишь, ребеночек родится, Коля и одумается. И уедем мы вместе отсюда, куда глаза глядят. Я уже почти год здесь живу, а понять не могу: что сюда людей тянет. У врача в очереди познакомилась с бабой, тоже на сносях, только старше меня, Марфой зовут, тоже из деревни, но в Москве давно, с до войны еще. Она добрая, утешает меня, говорит, рожать не страшно. Страшно, говорит, жить, а еще страшней — умирать. Я тогда сказала, мол, я знаю, у меня вся деревня погибла. А она меня по голове так погладила, сказала *бедная!* — и я почувствовала на минутку, будто мама снова со мной. Хотя грех, конечно, так говорить, другой мамы у меня не будет. Я сама теперь — мама. Осталось-то всего два месяца.

В очереди к врачу бабы рассказывали страшное: будто можно за деньги ребенка извести. Если рожать не хочешь. В Березовке тоже говорили, мол, девки отвары всякие пьют, если чего случалось. Я маленькая была, но понимала, чего говорят. Ну, отвар — это понятно. А тут вроде как

можно найти тайного врача, и он за полторы тысячи рублей, ну, это… все сделает.

Полторы тысячи! Это какие же деньги! У кого они быть-то могут, подумать страшно! Вот я каждый месяц считаю, как на 550 прожить. На двоих — с трудом. А тут еще ребенок, его же тоже кормить надо.

Поскорее бы он родился, мой зайчик. Если будет мальчик, пусть будет похож на Колю. А если девочка — на маму. Чтобы бровки вот такие были, и уши тоже.

Пусть будет как мама. От нее ведь ни фотографии не осталось, ничего. Все сгорело.

Мама порадовалась бы сейчас за меня. Она, наверно, и так радовалась, когда умирала. Знала, что я спаслась.

Коля надо мной смеется, но я все равно знаю: Бог где-то есть. И мама моя сейчас с ним рядом, на облаке, смотрит на меня, видит: у меня будет мой зайчонок, мой мальчик, моя девочка — вместо нее, вместо папы, вместо тети Кати и дяди Славы, вместо хромого Митрича и старухи Анфисы. Вместо всей нашей деревни. Родись поскорее, зайчонок. То есть родись в срок, но чтобы мне ждать не очень долго. Я немного боюсь рожать, здесь надо ехать в больницу, люди там незнако-

мые, вдруг сделают чего не то? Да еще, говорят, среди врачей вредители завелись. Тоже, наверное, из блатных.

Вот она сидит день за днем, девочка Нина из сорок восьмого года, и все тяжелеет и тяжелеет, и на сердце у меня — тоже тяжесть. Потому что *всегда, везде, с полночи до утра* — это одна и та же история, и я знаю, что будет дальше.

За две недели до родов Нина поставит на плиту картошку в мундире, хватится, что нет соли.

Пойдет к тете Вере, своей соседке.

Постучит, никто не ответит, Нина толкнет дверь, крикнет: *Тетя Вера!* — войдет, и ее ударят чугунным утюгом, будут целить в голову, но она успеет отскочить, а потом услышит шепот: *Добей ты эту суку!* — прикроет руками нерожденного младенца и заорет, но недостаточно громко. Но когда второй наветчик ударит в живот — тогда закричит так, что крик услышат во всем доме, во дворе, даже на улице — и он понесется над соседними крышами, над набережными Москвы-реки, над аттракционами ЦПКиО, над брусчаткой Красной площади, над пирамидой Мавзолея, над звездами Кремля, над пустым котлованом на месте взорванного Храма, над деревянными домами послевоенной Москвы, над хазами и малинами,

над отделениями милиции, над тюрьмами и зонами, над вестибюлями метро, над кинотеатрами и домами культуры — над всей послевоенной Москвой, над несчастным городом-победителем, над пацанами без отцов, женщинами без мужей, мужчинами без рук, без ног, без совести, без страха, без семей, без памяти, без любви.

А Нина все падает на окровавленный пол, все кричит, кричит….

Еще один удар — и она бы замолчала навсегда. Налетчики убили тетю Веру — могли убить и Нину. Разбить голову, перерезать горло, забить тем, что под руку подвернется, — но они убежали.

Их поймают через два дня. Может, кого-нибудь застрелят при задержании.

А Коля бежал по улице, прижимал к себе крошечное тельце, и пуповина болталась, как еще один красный кант, и весь Колин красивый мундир был в крови. Коля бежал, и ругался, и плакал, и не успел.

Это был мальчик.

Через два года они уехали из Москвы. Совхоз, построенный на месте сожженной Березовки, дал им дом: хороший мужик в деревне всегда пригодится. Так и жили, до самой смерти. Коля выучился на тракториста, Нина работала и до-

яркой, и птичницей, и продавщицей в сельпо — кем только не работала. Одно время даже воспитательницей в детском саду. Но недолго.

Своих детей у них не было. Коля умер в 1985-м, Нина — на год позже.

Иногда я вижу ее совсем старой. Руки сложены на коленях, сидит на табуретке у окна, старшеклассницы на скамейке хихикают с парнями. Из открытой машины доносится музыка.

Нине некого ждать, нечего бояться. Ее жизнь закончилась.

Только в голове, как заезженная пластинка, *всегда, везде, с полночи до утра, с вечера до вечера и снова до утра* — как наваждение, как заклятие, как обещание: все еще повторится, все еще будет.

* * *

Засыпая, я держу Яна за руку, но все равно — по ночам мне снятся сны о моих любовниках. О мужчинах, которых у меня не было. Мальчик из нашей гимназии, на год меня младше, вьющиеся светлые волосы выбиваются из-под гимназической фуражки: автомашина сбила его прямо у дома, на глазах родителей и гувернантки. Меньшевик-агитатор, треснувшие очки, срывающийся

голос превращается в короткий взвизг, когда пуля распускает лепестки багровой розы на груди его пиджака. Красноармеец в пыльном шлеме молча склоняется над мертвым телом товарища, захваченного белоказаками: на присыпанной солью спине вырезана звезда — пятиконечная и уже не красная, а бурая. Пятнадцатилетний подросток кричит сквозь слезы, *сволочи, сволочи!* — рыжие волосы промокли от пота, прилипли ко лбу, так и хочется провести по ним рукой. Грузный мужчина, виски чуть тронуты сединой, последний раз оглядывается, перед тем как войти на ту баржу — искра в темном зрачке, словно отблеск света, уже с другого берега.

Засыпая, я держу Яна за руку. Это сильная рука, поросшая мелким блеклым волосом, коротко стриженные ногти с траурной каймой. Я целую его пальцы и воображаю, что эта узкая темная полоска — запекшаяся кровь, застывшая кровь тех, кого он приказал расстрелять. Я целую руку и думаю: это рука человека, разделяющего жизнь и смерть, рассекающего надвое человеческое существование, рука человека, привыкшего решать за других, — жить им или умереть.

Мои губы пробегают по его ладони, поднимаются к сгибу локтя, скользят по жилам предплечья.

Когда он сжимает кулак, они напрягаются, словно ременная передача, — и я чувствую ток крови, слабые толчки, а губы продолжают свой путь, и я целую подмышки, пропахшие суровым военным потом волосы — единственный островок волос на теле, если не считать густой поросли у основания могучего ствола, что вздымается где-то там, внизу. Я запрещаю себе думать об этом, провожу языком по гладкой груди, едва-едва прикасаясь к соскам, — и тогда тяжелая рука Яна ложится мне на спину, ногти начинают тихонько скрести кожу, всегда в одном месте, между лопатками — *и даже спустя неведомо сколько реинкарнаций я по-прежнему замираю, когда Никита вот так гладит мою спину,* — замираю, а потом вздрагиваю, и язык устремляется вниз, узкой тропкой между вздымающихся ребер, пересекая выпуклый шрам от сабельного удара — «все-таки достал он меня, гад, когда я снял его из нагана», — и провожу по шраму пальцем, представляя какого-то белого офицера, с холодной яростью отчаяния тянущего шашку навстречу своему убийце, и в то же время губами спускаюсь ниже, к розочке пупка, и Ян кладет мне ладонь на затылок, подталкивая, направляя, ускоряя и без того неудержимое движение. И тогда я рукой ерошу светлые волосы

— светлые, но темнее, чем усы или пряди, выбивающиеся обычно из-под фуражки, — а языком описываю спирали, чувствуя, как наливается, набухает кровью, вздымается все выше великая ось, вокруг которой вращается моя ночь. И наконец, сжав руками два шара, открываю рот и заглатываю багровую головку, трепещущими ноздрями втягивая воздух, словно дорожку кокаина, двигая головой, ощущая тяжесть ладони на затылке, упругость органа между губ, дрожь тестикул в руке, трепет сильного мужского тела.

За свою жизнь я узнал вкус множества мужских органов. Мои язык и небо научились различать подростковое томление, животный страх, грозную ненависть, трепещущее обожание, нетерпение, жжение, зуд, спешку, напор неизлитого семени, давление похоти, судорогу страсти.

Вкус Яна — вкус оружейной смазки и машинного масла. Вязкий, липкий, бросающий меня в дрожь. Я держусь за его яйца — легко взять, трудно выпустить, — и мне кажется, у меня во рту двигается ствол. Не маленький, почти игрушечный ствол нагана, вкус которого многие узнали за прошедшие годы. Нет, огромный разогретый ствол артиллерийского орудия, орган машины уничтожения, готовый к залпу и только ждущий

команды.

Я двигаюсь все быстрее, ладонь на затылке не дает передохнуть, губы зудят сладкой болью — я прижимаюсь к Яну всем телом, а из глубины моего сердца поднимается заветное слово, пробегает по кровеносным жилам, взлетает по горлу, шире раскрывает рот неистовой, колдовской командой *пли!* — и вот уже клейкая струя семени взрывается в моей голове.

В гимназии на уроке Закона Божьего нас учили: семя умрет и принесет много плода. Семя Яна — мертвое семя, белесым налетом застывает у меня на губах. Плоды, которое оно приносит… они прекрасны, эти плоды — и слезы текут по моим щекам. Тогда он убирает ладонь с затылка, садится в кровати и рывком подтягивает меня к себе. Липкими губами я утыкаюсь в плечо, его рука лениво скребет мою спину.

Тогда Ян начинает говорить. Он вспоминает Гражданскую войну, Кронштадтский мятеж, Антоновские бунты, контрреволюционные заговоры. Он рассказывает, как прошел день.

День проходит в скучных, будничных заботах. Составление списков, диктовка телеграмм, выслушивание докладов, доносы, допросы, резолюции, решения. Теперь Ян почти никогда не

расстреливает сам — *пусть другие поработают,* говорит он. В начале нашей связи я спросил, помнит ли он, сколько человек убил, — и Ян ответил: в бою не считаешь, а когда пускали на дно баржи — тем более никто не считал.

Иногда я говорю себе: сейчас я плачу на груди мужчины, который убил людей *без счета,* — и мое сердце грохочет, как молот. Спрашиваю:

— Ты мог бы расстрелять меня?

— Конечно, — Ян обхватывает меня за плечи, — конечно, мог бы. Я расстреливал мужчин, с которыми спал. Они были изменники. Я служу Революции, а ты понимаешь, Коля, Революция не прощает измен.

Я не спрашиваю о мужчинах, с которыми он спал. Я боюсь, он тоже не помнит их, как не помнит тех, кого убил. Я боюсь затеряться в перечне, длинном, как расстрельный список.

Я не спрашиваю, спал ли он с женщинами. Эта мысль непереносима: представить Яна с женщиной, вообразить, как его могучий орган погружается в затхлое мокрое человеческое нутро. Женская секреция омерзительна, словно ржа, разъедающая ствол орудия. Не могу представить, как семя Яна, семя смерти, вливается в женское лоно, тошнотворный источник новой жизни.

Я бы хотел всегда держать орган Яна в руке или сжимать его губами — чтобы знать: ни одна капля его семени не оплодотворит женщину. Маленькие дети — омерзительны, их визги — пародия на неудержимые крики страсти, их вонючие пеленки, коляски и чепцы — мрачное пророчество о старческом бессилии, до которого я не доживу.

Когда-нибудь утром я увижу: мой орган слабым червем дремлет между бедер. Когда-нибудь вечером при виде мужской наготы он не воспрянет, останется сморщенным и жалким. В тот день я пойму: вот пришла моя старость. И я попрошу Яна — потому что Ян всегда будет рядом, всегда будет молодым — внести меня в расстрельный список и — в память нашей любви — самому вывести в расход.

Сейчас Ян почти никогда не принимает участия в расстрелах. Я берегу патроны, шутит он. Просто у меня есть мечта: хочу расстрелять графиню. Настоящую графиню.

Когда он впервые сказал об этом, я испугался. Представил какую-то великосветскую любовную историю: маленький Ян — мальчик на побегушках, графиня, которую он вожделеет (или которая вожделеет его), старый граф, в полумраке супружеской спальни раскрывающий Яну тайны

однополой любви, женский силуэт на пороге, крики, истерика, может быть — полиция или порка на конюшне, клятва отомстить, подпольные ячейки, партия большевиков, революция, война, ЧК, расстрельные списки, мои слезы на плече…

В тот раз Ян успокоил меня:

— Понимаешь, — сказал он, — я никогда не видел настоящую графиню. Только в кино. Вот хочу посмотреть, как графини ведут себя перед смертью, как умирают, какого цвета у них кровь.

— У аристократов — голубая, — пошутил я, но Ян ничего не ответил. Я увидел, как снова напрягся его орган, и в приступе ревности сжал его рукой, а ногти Яна впились мне в спину. Потом он разжал мои пальцы и засмеялся: *Ты что, ревнуешь? Хочешь, я возьму тебя, когда мы будем отправить ее к Духонину в штаб?*

С тех пор мы часто говорили об этом. Мечта Яна стала моей мечтой. Мы представляли, как мы нашли графиню: шпионку, заброшенную белоэмигрантами из Парижа; скрывшуюся аристократку, переждавшую революцию в каком-нибудь тихом особняке; замаскировавшуюся под крестьянку, рабфаковку или студентку. В день расстрела она была в белом платье с кружевами, с зонтиком от солнца в руке, в черных туфлях с высокой

шнуровкой и низким каблуком. Иногда мы вели ее по кирпичному коридору к последней стене, иногда выводили на снег во двор ЧК (я знал, там давно не расстреливают, но в мечтах почему-то видел, как она идет, проваливаясь в снег, по этому двору), иногда мы вывозили ее за город, на берег Финского залива. Даже в мечтах Ян не давал мне самому привести приговор в исполнение — я только подавал наган, и тогда Ян, прищурив глаз, не спеша наводил дуло, а графиня бледнела, иногда дрожащей рукой раскрывала зонтик или роняла в снег, закрывая лицо руками в длинных — по локоть — белых перчатках. И Ян всегда говорил: *Прощайте, графиня!* — и семя смерти вырывалось из ствола, а белое платье краснело, пропитываясь кровью, обычной алой кровью, такого же цвета, как у всех, кого Ян расстрелял.

Его мечты не шли дальше этого выстрела — но в своих видениях я опускался перед ним на колени, целовал дымящееся револьверное дуло, а потом осторожно брал в рот другой ствол, взведенный и готовый к выстрелу.

Засыпая, я держу Яна за руку и думаю: сегодня мне казалось — Яна нет со мной, как будто он думает о чем-то другом, даже не о Революции, суровой деве, к которой я давно не ревную, а о

каком-то другом юноше, может быть, моложе меня на год или два, двадцатидвухлетнем красавце с вьющимися светлыми волосами — и вот в полудреме я вижу нас троих, а потом Ян уходит куда-то, мой новый любовник целует меня в губы — и тут меня будит голос Яна, и я не сразу понимаю, что он сказал, но когда понимаю — то еще крепче сжимаю его руку — и окончательно просыпаюсь.

— Я нашел ее, — говорит Ян. — Я нашел графиню.

Было совместное совещание по борьбе с бандитизмом — милиция, УгРо, ОГПУ. Когда закончили, Ян вышел на улицу — и увидел девушку. Она стояла, облокотись на ограду, стояла почти неподвижно — и во всей ее фигуре была какая-то буржуазная утонченность, какой-то старорежимный аристократизм. Она была неуместна здесь, среди сильных мужчин в кожанках. *Надо спросить документы,* подумал Ян, но в этот момент незнакомый сотрудник УгРо подбежал к девушке, обнял и поцеловал в губы.

Ян отошел, чтобы не привлекать внимания, только потом спросил, *кто это там целуется?* — и в ответ услышал фамилию мужчины.

Все остальное было делом техники. Ян навел

справки, узнал, кто это. Вроде герой Гражданской войны, борец с бандитизмом, заслуженный товарищ. Правда, насчет девушки пришлось покопаться. Студентка Университета — ну, тогда Ян зашел на факультет, проверил документы — вроде все нормально, из работниц, но фамилия его насторожила. Он пошел по адресу, где она жила с матерью и сестрой. *Революционное чутье не обмануло,* усмехнулся он. В домкоме, увидев его мандат, все рассказали. Из бывших. На заводе недавно, пошла, значит, чтобы в Университет пролезть.

Дворник вызвался показать, где они жили раньше, оказалось — в собственном доме. И там, не веря своим ушам, Ян услышал: *жена и дочки покойного графа.*

— Я еще документы соберу, — говорил он, а я чувствовал, как дрожат пальцы в моей ладони, — и доклад товарищу Меерзону: мол, представительница эксплуататорских классов скрыла при поступлении в Университет происхождение и с преступной целью вступила в связь с сотрудником рабоче-крестьянской милиции. А это — вышка, поверь мне, Витя, я сумею написать.

Я прижался к Яну всем телом, впитывая его

дрожь.

— Что же ты молчал? — прошептал я. — Ведь это — подарок нам с тобой.

— Да, — серьезно ответил Ян, — к дню рождения Революции.

Годовщина была только на следующей неделе, но я понял: Ян уже считает дни до своего *прощайте, графиня!* — и алая роза расцветет на белом платье.

Он говорил *день рождения Революции,* словно Революция была человеком, женщиной, в которую он влюблен. Я любил в нем это рыцарство, эту безответность, бесплодность, холодное пламя неземной страсти, пожирающее изнутри. Мы оба для Яна были любовниками Революции, а наша близость — всего лишь попыткой приблизиться к Ней, для него — новой попыткой, чтобы после долгих лет войны и расстрельных списков заменить предсмертные крики — криками наслаждения, а свинцовое семя нагана — высыхающим на моих губах семенем нашей любви.

Утром я смотрел, как Ян одевается. Он повернулся ко мне спиной, а я глядел на ягодицы, округлые, упругие, приподнятые, глядел на шрам между лопатками, на широкие плечи… Нежность, возбуждение, дрожь — я подбежал и

поцеловал коротко стриженный затылок.

Ян улыбнулся через плечо:

— Не сейчас, Коля, мне надо идти, да и тебе тоже.

Да, я тоже ходил на службу. Неинтересная конторская работа — если бы не встреча с Яном, моя жизнь осталась бы такой же блеклой, как бумаги, которые я перебирал. Я презирал свою работу, хоть Ян и говорил: *это тоже служение Революции.*

Я оделся, хотел выйти вместе — впрочем, Ян не стал меня ждать.

— Спешишь в своей графине? — спросил я.

— К *нашей* графине, — улыбнулся он уже на пороге.

Я часто думаю: эти слова были лучшим любовным признанием в моей жизни, прекрасным эпилогом к нашему роману, прощальной точкой, в череде ночей, пахнущих семенем и оружейной смазкой, долгих ночей, которые мы делили на двоих, как делили на двоих Революцию, эту суровую Богоматерь; как делили графиню — белоснежного агнца, обреченного на заклание во имя Ее.

Вечером Ян не вернулся. Иногда он задерживался допоздна, но всегда предупреждал. За полночь,

измученный подозрениями, ревностью и страхом, через весь город я побежал на Лубянскую площадь. Мне представлялась попытка ареста, сопротивление заговорщиков-контрреволюционеров, глупая, шальная пуля, кровавая роса на безволосой широкой груди.

Я спросил у караульного, на месте ли Ян, а в ответ получил *иди отсюда, контра!* — обращение, вдвойне пугающее на пороге ОГПУ. Потерянный, я побрел прочь и, повернув за угол, услышал шум мотора. Машина остановилась, за рулем сидел молодой парень. Я знал его: он пару раз подвозил Яна после ночных операций.

— Ты — Виктор? — спросил он.

Я кивнул, не решаясь произнести: *Что с Яном?* — но тот рассказал, не дожидаясь вопроса. Позже я думал — они тоже могли быть любовниками: в голосе парня была грусть, и он сказал мне правду, которую сотрудник ОГПУ не должен говорить постороннему — если, конечно, с этим посторонним его не связывает нечто большее, чем ночная улица, предрассветный час и тусклый свет фонарей.

— Был сигнал, — сказал он, — вроде как Ян раньше был связан с эсерами и сейчас готовит террористический акт. Один сотрудник УгРо

сообщил — случайно во время облавы какой-то мелкий вор дал показания.

— Что за ерунда? — пролепетал я. — Никогда Ян не знался ни с какими ворами…

— Не знаю, — сказал парень, — вора убили при попытке к бегству, как назло. Но этот, из УгРо, такой заслуженный товарищ, участник Гражданской войны, нельзя не поверить. Два часа говорил в кабинете с товарищем Меерзоном, тот лично подписал приказ об аресте.

В лагерях люди иногда вспоминают, как узнавали об аресте своих близких. Обычно говорили: *мы верили — там разберутся и отпустят.* Слыша это, я еле заметно усмехался. Уже той ночью у меня не было иллюзий — я знал, как работает эта машина, знал — я больше никогда не увижу Яна, знал — бесполезно идти к Меерзону, рассказывать, что любовница сотрудника УгРо — бывшая графиня и тот оговорил Яна, когда понял, что Ян подбирается к ней. Да, я знал, все это — бесполезно. Бесполезно и опасно.

Если бы в Москве были петухи, той ночью они могли бы прокукарекать свои три раза без всякой паузы. Я отрекся от своей любви в один миг, сказал *ну, товарищу Меерзону виднее* — и, сгорбившись, пошел навстречу сереющему рассвету.

Моя любовь умерла еще до того, как пуля вошла в коротко стриженный затылок Яна, в то самое место, куда я поцеловал его в последний раз. Моя любовь умерла — тот, кого я любил, не мог сидеть в камере, не мог отвечать на вопросы следователя. Он мог только сам задавать вопросы, только запирать в камеры других, каждым своим жестом утверждать великую животворящую силу революционной смерти, которая клокотала в нем неиссякающим источником, давала силу корням могучего древа, наполняла соками крепкий ствол, распухающий между моих губ.

После исчезновения Яна меня охватила тоскливая печаль — словно вся post coitum tristia, которой были лишены наши ночи, дождалась своего часа. Сны стали блеклыми и лишенными красок, как листы ежедневных газет с отчетами о новых свершениях, новых стройках, новых врагах. Я вернулся к безнадежному, потухшему существованию, ставшему еще более бесцветным, чем до встречи с Яном. Даже юноши и мужчины теперь не волновали меня — как будто в глубине души я смог найти тайный внутренний дворик и там поставить к стенке саму возможность близости и любви.

Однажды под утро мне приснилась девушка в

белом, с зонтиком в руках, в ботинках с высокой шнуровкой. Она шла под руку с незнакомым мужчиной в кожаной куртке, и я не сомневался: это и был убийца моей любви, убийца Яна. Мне запомнился невыносимый контраст белых кружев и черной кожанки там, где соприкасались их руки. Мужчина казался моим ровесником, был широк в плечах, круглоголов и, как многие в те годы, обрит наголо. Взгляд, обращенный к девушке, лучился нежностью, но стоило ему отвести глаза, как они превращались в два черных круга, два бесконечных тоннеля, два оружейных дула, готовых к выстрелу.

Я проснулся: на губах был забытый вкус смазки и машинного масла. Впервые после исчезновения Яна я принялся одиноко ласкать себя, перевернувшись на спину, закрыв глаза и сжимая в руке твердеющий орган. Я представлял Яна — сильные руки, пальцы, поросшие светлым волосом, шрам на спине и шрам на животе, вздувшиеся жилы предплечий, безволосую грудь, позабытый суровый запах военного пота — но знакомые черты тускнели, и сквозь облик Яна властно проглядывал его убийца, словно Ян превращался в него, словно убийца поглощал Яна. И когда метаморфоза завершилась, густая струя ударила фонтаном

и упала мертвыми каплями на мой живот.

Графиня была мороком, миражом, фата-морганой. Расставленной ловушкой, искушением, которое Ян не смог преодолеть. Революция не простила неверности — ревность Революции посерьезней моей юношеской ревности. Обещание принести этого ложного агнца в жертву не могло Ее обмануть — в тайном ордене, к которому принадлежали мы с Яном, не было места для женщин — только для Нее. Страсть, не принадлежавшая Революции, могла быть отдана лишь другому мужчине — словно своему отражению в зеркале, своему двойнику, своему напарнику в суровом служении жестокой деве.

Я знал: рано или поздно наступит мой черед. Я заплачу за разделенные с Яном мечты, заплачу за *нашу* графиню. Я ждал много лет и, когда час пришел, не читая поставил подпись на протоколе следствия — но ничего не рассказал о Яне, о нашей любви, о колдовской фата-моргане, увлекшей нас в гибельную пучину.

Иногда я думаю, что все-таки не предал нашу любовь.

Я ждал, что меня расстреляют, но времена изменились: Революции требовались рабы, а не жертвоприношения: меня отправили в лагерь;

я был уверен, что умру там. Я мог умереть на этапе, в Сибири, на поселении; а после второго ареста — в пересыльных тюрьмах, в Джезказгане и на Воркуте. Наверное, я не умер потому, что пропитанное смертью семя, что много ночей подряд изливалось в мою гортань, наполнило меня силой.

В пятьдесят шестом на волне хрущевских реабилитаций я вернулся в Москву. Думаю, Яна тоже реабилитировали. Я подумал: можно узнать фамилию доносчика из УгРо, встретиться с ним и посмотреть в глубокие темные глаза… Но я не стал искать — что бы я сделал, встретив этого человека? В мечтах я иногда убивал его, иногда занимался с ним любовью, и часто в решающий момент белым призраком в спальню входила графиня, все такая же молодая, входила и смотрела безмолвно, а могучий круглоголовый орган обмякал в моих губах.

Когда-то я мечтал: пуля — свинцовое семя моего любовника — не даст времени иссушить мою плоть. Мне было двадцать четыре года — и столько же лет я прожил, вернувшись из Казахстана, хотя снова думал, что быстро умру. С годами тускнела память о Яне, память о любви, память о лагере, о графине и ее круглоголовом спутнике,

обо всем, что случилось за семьдесят с лишним лет. Почти всю жизнь я прожил один — и в старости даже былые призраки не нарушали моего одиночества.

Я знаю: так я и умру. В одиночестве, в пустой квартире, летом тысяча девятьсот восьмидесятого года, шестьдесят третьего года от рождения Революции.

Смерть — великая обманщица, морок, фата-моргана. Когда-то я о ней мечтал — снова и снова она ускользала. В конце концов я сдался, устал, отступил.

И вот она приходит ко мне, и я говорю: послушай, не понимаю, почему вообще я любил тебя? В ответ ты холодной рукой сжимаешь мои стариковские пальцы.

Разве об этом я грезил полвека назад?

Жаль: ты шла так долго, что я почти забыл — как же сильно я когда-то любил тебя!

* * *

Девочка на скалах Крыма, девушка из сожженной деревни, старушка перед зеркалом. Матрос плывет по Волге, солдат вырывает чеку, старик ждет свою смерть, мужчина находит ее сам. А за ними теснятся новые и новые души…

Все они — это я.

Боже мой, сколько их! Никого от них не осталось — ни сына, ни дочки, ни наследника, ни наследницы — никого не осталось, никого и ничего, даже вспомнить некому, некому даже помянуть, некому замолвить слово перед теми, кто пришел после. Никто их не видит, не слышит.

Только я…

И Маша плачет, плачет по всем, кто сгинул без следа, плачет и повторяет: только я, только я… и значит, я — их наследница? Значит, мне нести все это, хранить эти души в исхудавшем теле, вечно вынашивать взамен незачатых детей?

Я одна-одинешенька, говорит себе Маша, родных своих родителей я никогда не знала, маму и папу сама прогнала, братьев и сестер у меня нет, детей никогда не будет — как я одна понесу этот груз? Разве я — медиум? Разве я вызывала мертвых? Нет, они сами пришли ко мне, вошли в меня, как входит насильник в спящую женщину, в женщину, у которой больше нет сил сопротивляться.

Ну что же, если пришли — располагайтесь поудобней, ешьте меня, угощайтесь. Вот моя плоть, вот моя кровь, а хлеба и вина здесь не подают. Будьте гостями, только знайте — это ненадолго.

Потому что я не вынесу всего этого больше.

Одна — не вынесу.

И на помощь позвать — не смогу.

Вот приду я к Никите и скажу: я слышу голоса, во мне живут другие, умершие люди. У него сразу станет такой голос, очень терпеливый, сочувственный, позитивный. Я от такого голоса сама начинаю думать, что я сошла с ума и мне место в психушке. Так что лучше и не говорить вовсе.

Только бы он был рядом, только бы не уходил, только бы держал за руку — а я уж помолчу, я уж дальше сама справлюсь.

Я скажу: а ведь правда хорошо было в Крыму девять лет назад? Помнишь, я еще гадала на набережной? Может, тогда все и началось? Может, там-то я и впустила в себя все эти чужие жизни, всех этих погибших, умерших, несчастных, бесплодных? А мы еще веселились вечером, вино пили, ели шашлык. Молодые были, глупые. Сильные были, уверенные в себе. Может, осталось еще на донышке той силы, может, на наш век хватит, как ты думаешь, Никит, а?

Не отвечай, не надо. Мы ведь и сами не знаем, сколько можем выдержать. Не отвечай, хорошо? Но ты не уходи, пожалуйста, не уходи.

Я буду только держаться за твою руку — мы все

будем только держаться за твою руку — и, может быть, выплывем, может, научимся наконец дышать под водой.

Об авторах

Хуснутдинов Андрей, родился в 1967 году, окончил филфак по специальности русский язык и литература. В разное время публиковался в журналах «Знамя», «День и Ночь», «Полдень, 21-й век». Работает в жанре фантастики, хотя его прозу можно сравнить скорее с прозой Франца Кафки. Автор романов «Данайцы», «Гугенот» и «Столовая Гора». Последний вошел в лонг-лист премии «Русский Букер» за 2008 год.

Максим Максимов родился в 1979 году в Москве. Работал копирайтером в нескольких дизайнерских и рекламных бюро. Автор двух книг стихов, стипендиат программы «Новые Имена». На настоящий момент опубликовано уже три романа Максима Максимова: «Московские зонтики», «Нас не бывает» и «Вдали от залива Ригли».

Александр Анучкин родился в Москве в 1976 году в семье педагогов. С 12 лет работал в самых разных СМИ. Криминальной журналистикой занимается 12 лет. Работал на НТВ — корреспондент информационной службы, ведущий программ

«Криминал» и «ЧП», автор и ведущий программы «Внимание: розыск!», обладатель Супергран-при международного фестиваля «Золотой Георгий». Телеканал ТВ-Центр, автор и ведущий программы «В центре внимания», руководитель проекта «Доказательства вины». В настоящее время ведущий и шеф-редактор программы «Экстренный вызов 112» на Пятом канале. Его дебютный роман, политический триллер «Золотой запас», вышел летом 2009 года.

Владимир Тучков родился в 1949 году. Работал литературным и художественным обозревателем газеты «Вечерняя Москва». Лауреат премий журналов «Магазин Жванецкого» и «Новый мир», Международного Тургеневского фестиваля малой прозы. Победитель литературного интернет-конкурса «Тенета-Ринет». В разные годы входил в шорт-лист премии Андрея Белого и дважды — в шорт-лист премии «Антибукер». Цикл рассказов «Смерть приходит по Интернету» был назван Академией российской словесности в числе наиболее значительных произведений девяностых годов. Знаменит циклом романов о Танцоре, написанных в жанре «кибер-панк».

Игорь Зотов родился в Москве в 1955 году.

Окончил филологический факультет МГУ. Пять лет проработал переводчиком в одной из африканских стран. Больше 10 лет проработал в «Независимой газете», в том числе и в должности заместителя главного редактора. Основал и пять лет возглавлял книжное приложение «Ex Libris НГ». Автор двух книг. Сотрудничает с различными периодическими изданиями Москвы. Автор нескольких сотен статей и эссе, опубликованных в российских и зарубежных СМИ.

Сергей Кузнецов родился в 1966 году в Москве. Окончил МГУ в 1988 году. В девяностые годы сменил множество профессий, большинство из которых было связано с литературой и издательскими бизнесом. Во второй половине девяностых стал известен как один из ведущих российских кинокритиков и специалистов по поп-культуре, статьи которого публиковались в ежедневных газетах и таких журналах как «Vogue», «Harper's Bazaar», «Premier» и других. В то же время Сергей стал одним из пионеров русского Интернета, участником большинства журналистских интернет-проектов девяностых годов. В 2001/02 годах получил Knight Fellowship в Стэнфордском университете. Вернувшись в Москву, опубликовал свой первый роман, а также книгу мемуаров

«Ощупывая слона», посвященную истории русского Интернета. Оставив журналистику, в двухтысячных годах Кузнецов посвятил себя занятиям литературой и развитию нескольких собственных бизнес-проектов.

Сергей живет в Москве, женат, у него трое детей.

Вячеслав Курицын — прозаик, литературный деятель. Родился в 1965 г. в Новосибирске. Окончил факультет журналистики Уральского университета и аспирантуру РГГУ. В разные годы работал обозревателем «Литературной газеты», газеты «Сегодня», журналов «Матадор», «Октябрь», «Прочтение» и «Однако». Создатель сайта «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным», обозреватель «Русского журнала» (до 2002). В 2003 году опубликовал роман «Месяц Аркашон» (под псевдонимом Андрей Тургенев), вошедший в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». В 2007 году вышел роман о блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны «Спать и верить», также ставший финалистом премии «Национальный бестселлер». Лауреат Премии Андрея Белого (2005). Инициатор ряда литературных проектов, в т.ч. поэтических турниров «Русский слэм», Курицынских чтений

в Екатеринбурге и др.

Ирина Денежкина — прозаик, журналист. Родилась в 1981 году в Екатеринбурге. Когда одна из ее книг попала в финал престижной премии «Национальный бестселлер», о феномене Денежкиной заговорили как о самом заметном явлении на небосклоне современной русской словесности. Сборник рассказов «Дай мне!» был переведен на двадцать языков, включая английский. Денежкина по сей день живет в родном городе Екатеринбурге, пишет новую книгу, работает над телевизионными сценариями, воспитывает сына и дочь.

Алексей Евдокимов — прозаик. Родился в 1975 году, является одним из соавторов легендарного писательского дуэта Гаррос- Евдокимов, прославившегося романом «[Голово]ломка», который был переведен на восемь языков и стал лауреатом премии «Национальный бестселлер» в 2003 году. В творческом тандеме Евдокимовым и Гарросом созданы романы «Серая слизь» и «Фактор фуры». Как самостоятельный автор Евдокимов опубликовал три романа — «ТИК» (2007), «Ноль-Ноль» (2008) и «Слава богу не убили» (2010).

Юлия Гумен родилась в Ленинграде в 1977 году.

Получив кандидатскую степень по германским языкам, в издательском бизнесе плодотворно работает с 2001 года. Гумен начинала как специалист по иностранным авторским правам в независимом издательстве, после чего основала свое литературное агентство. С 2006 года работает вместе с Натальей Смирновой.

Дмитрий Косырев (Мастер Чэнь) — прозаик, общественный деятель. Родился в 1955 году, с 1970 года сотрудничал как автор с ведущими печатными СМИ: газетами «Правда», «Российская газета», «Ex Libris НГ». В качестве эксперта по Китаю и государствам Юго-Восточной Азии долгое время жил в разных регионах этих стран, написал и издал несколько шпионских романов, вызвавших большой читательский резонанс: «Любимая мартышка дома Тан», «Любимый ястреб дома Аббаса», «Шпион из Калькутты. Амалия и Белое видение», «Любимый жеребенок дома Маниахов». Живет в Москве с женой и двумя дочерьми.

Людмила Петрушевская — известный прозаик, поэт, драматург. Родилась в Москве в 1938 году. Ее первая публикация состоялась в 1972 году, за ней последовало почти десятилетие вы-

нужденного творческого молчания по причинам цензуры. Роман Петрушевской «Время ночь» вошел в 1992 году в список финалистов премии «Русский Букер» и был переведен более чем на тридцать языков. С тех пор Петрушевская издала свыше 30 книг своей прозы, а ее пьесы включены в репертуары ведущих театров мира.

Сергей Самсонов — писатель, журналист. Родился в 1980 году в Подольске. Долгое время работал копирайтером в московском издательском доме, как автор выступал на страницах газеты «Ex Libris НГ». Его первый роман «Ноги» был переведен на итальянский язык. Второй роман «Аномалия Камлаева» стал финалистом премии «Национальный бестселлер». Третий и последний на данный момент роман Самсонова называется «Кислородный предел», он вышел в 2009 году.

Глеб Шульпяков — поэт, прозаик, эссеист, драматург. Родился в 1971 году. Первый сборник его стихов «Щелчок» был издан в 2001 году, за эту книгу автор был удостоен престижной премии «Триумф». Шульпяков — автор романов «Книга Синана» и «Цунами», сборника эссе «Общество любителей Агаты Кристи». Сотрудничает с рус-

скими газетами, журналами и ТВ. Переводит стихи Теда Хьюза, эссе Уистена Хью Одена. Работает главным редактором журнала «Новая Юность», живет в Москве. Воспитывает сына.

Наталья Смирнова родилась в 1978 году в Москве, изучала юриспруденцию и работала юристом, потом переехала в Санкт-Петербург, где окончила филологический факультет и стала специалистом по иностранным авторским правам. В 2006 году вместе с Юлией Гумен работает в литературном агентстве «Goumen&Smirnova», представляя лучших русских авторов читателям всего мира.

Анна Старобинец — прозаик, журналист, сценарист. Сборник ее рассказов «Переходный возраст» был переведен на несколько европейских языков. Ее перу также принадлежат роман «Убежище 3/9» и сборник повестей «Резкое похолодание». Все ее книги выдвигались на соискание премии «Национальный бестселлер». Старобинец, открытая разнообразным творческим экспериментам, создала роман-мангу о войне и пионерах-героях «Первый отряд», вызвав лавину похвал и сомнений среди читателей всех возрастов. Живет в Москве с мужем и дочкой, работает

над новым романом.